

Карел Чапек Рассказы из другого кармана (сборник)

Похищенный кактус

— Я расскажу вам, — начал пан Кубах, — что случилось со мной этим летом.

Жил я на даче — как это обыкновенно бывает: без воды, без леса, без рыбы, безо всего вообще: но, зато в окружении членов народной партии, общества декораторов с предприимчивым председателем во главе, по соседству с фабрикой перламутровых пуговиц и почтой, где восседает старая носатая почтмейстерша; словом, все, как везде и всюду. Так вот, около двух недель предавался я благотворному и оздоровительному воздействию ничем не нарушаемой скуки и вдруг из чего-то понял, что местные сплетницы перемывают мне косточки, а общественное мнение роется в моем грязном белье. Письма я получал настолько тщательно заклеенными, что края конверта прямо-таки лоснились от гуммиарабика. «Ага, — сказал я себе, — кто-то просматривает мою корреспонденцию. Дьявол ее возьми, эту носатую бабу-почтмейстершу!...»

Для почтовых работников, знаете ли, распечатать любой конверт — дело пустяковое. Ну, погоди, думаю, я тебя проучу! Сел к столу и своим самым изысканным почерком начал выводить: «Ах ты страшило почтовое, ах ты сплетница носатая, ведьма хвостатая, трепло паршивое, змея окаянная, хрычовка старая, кочерга, баба-яга», — и так далее. А внизу приписал «Со всем моим почтением Ян Кубат».

Оказывается, чешский язык все-таки — богат и меток; в один присест я высыпал на лист бумаги тридцать четыре таких выражения, которые честный и правдивый человек может высказать любой даме, не становясь ни навязчивым, ни чересчур пристрастным. Довольный собой, я заклеил письмо, надписал на конверте собственный адрес и отправился в ближайший город опустить послание в почтовый ящик.

Спустя день побежал я на почту и с любезнейшей улыбкой сунул в окошечко.

— Пани почтмейстерша, — спрашиваю, — нет ли для меня корреспонденции?

— Я на вас жаловаться буду, негодяй, — зашипела почтмейстерша, бросив на меня такой устрашающий взгляд, каких мне не доводилось встречать.

— Да отчего бы это, пани почтмейстерша? — сочувственно так говорю я. — Уж не прочли ли чего неприятного? И вскоре уехал от греха подальше.

— Ну, это пустяки, — навел критику пан Голан, старший садовник богача Голбена. — Эта проделка была слишком уж безыскусна. Мне хотелось бы рассказать, как я сцапал похитителя кактусов. Вам, разумеется, известно, что господин Голбен — большой любитель кактусов; его коллекция — поверьте, я не преувеличиваю, — стоит не менее трехсот тысяч, даже если не считать уникальные экземпляры. Но у господина Голбена одна слабость: любит он выставлять свою коллекцию всем на обозрение. «Голан, — говорит он мне, — это такое благородное увлечение, что нужно его в людях развивать и пестовать». А по-моему, когда этакий захудалый кактусовод рассматривает, скажем, нашего золотого Крусона за двенадцать сотен, у него только понапрасну щемит сердце — ведь таким ему никогда не завладеть. Но, коли уж на то хозяйская воля, пожалуйста, пусть себе смотрит.

Однако в прошлом году стали мы замечать, что кактусы у нас исчезают, исчезают вовсе не самые яркие, которые каждый хочет у себя завести, а именно самые редкостные экземпляры; как-то мы недосчитались *Echinocactus Wislizenii*, в другой раз *Graessnerii*, затем пропала *Wittia*, импортируемая прямо из Коста-Рики, за ней *Species nova*, которую нам послал Фрич, а там *Melocactus Leopoldii*, уникальный экземпляр, какого в Европе никто не видел уже больше полувека, и, наконец. *Pilocereus fimbriatus* из Сан-Доминго, единственный экземпляр, прижившийся в Европе. Как видно, похититель был знаток. Вы не можете себе представить, как бушевал старый Голбен.

— Господин Голбен, — говорю я, — закройте-ка вы свою оранжерею, и с кражами будет покончено.

— А вот и нет, — раскричался старик, — такое благородное начинание должны видеть все, — а ваш долг — изловить мне этого поганца; прогоните старых сторожей, наймите новых, подымите на ноги полицию и всех, кого положено!

Нелегкое это дело; если у вас тридцать тысяч горшочков, то сторожа возле каждого не поставишь. Тем не менее нанял я двух полицейских инспекторов-пенсионеров, велел им глаз не спускать с оранжереи, и тут у нас исчез *Pilocerereus fimbriatus* — только вмятина от горшочка в песке осталась. Меня это так разобрало, что я сам принялся выслеживать похитителя.

Если хотите знать, истинные любители кактусов — нечто вроде секты дервишей; по-моему, у них у самих вместо усов отрастают шипы и клохиды, настолько они поглощены своею страстью.

У нас в Чехии две таких секты: Кружок кактусоводов и Кактусоводческое общество. Чем они отличаются, не имею понятия, по-моему, одни верят в бессмертную душу кактусов, а другие попросту приносят им кровавые жертвы; словом, сектанты взаимно ненавидят и преследуют друг друга огнем и мечом, на земле и в воздухе. Так вот, отправился я, значит, к председателям этих сект и со всей доверительностью спросил, не подскажут ли они, кто из враждующей с ними секты, к примеру, мог украсть Голбеновы кактусы. И когда я перечислил наши пропавшие драгоценности, оба с полной уверенностью заявили, что ни один из членов неприятельской секты похитить таковые не способен, поскольку «все они там тупицы, глупцы, сапожники, недоучки и никакого понятия не имеют о том, что такое *Wislizen* или *Graessner*, не говоря уж о *Pilocereus fimbriatus*»; что же касается собственных членов, то они ручаются за их честность и благородство; украсть они не могут ничего, разве что кактусы; и если бы кто из них такого *Wislizen*'а заполучил, то не преминул бы показать остальным, чтобы насладиться поклонением и фанатическими оргиями в его честь, но об этом им, председателям, ничего не известно. После этого оба почтенных мужа пожаловались, что, кроме двух признанных, кое-как «терпимых» обществом сект, существуют еще дикие кактусоводы, и вот они-то хуже всех; эти дикари по причине необузданности страстей не смогли ужиться даже с официальными умеренными сектами и вообще предаются ереси и порокам. Уж они-то не остановятся ни перед чем.

Не преуспев у этих двух господ, я залез на раскидистый клен в нашем парке и начал думать. Клянусь вам, лучше всего размышлять, сидя на дереве; там чувствуешь себя как-то более свободным, покачиваешься себе тихонько и смотришь на все словно бы свысока; философам, по-моему, в самый раз жить среди ветвей — как иволге. На этом клене я и обдумал свой план. Сперва я обежал знакомых садовников, спрашивая всех подряд: «Братцы, не гниют ли у вас какие кактусы? Старому Голбену они нужны для опытов. Таким образом, я скопил сотню-другую уродцев и за одну ночь затолкал их в Голбенову коллекцию. Два дня я молчал, и на третий день поместил во все газеты следующее сообщение:

«Всемирно известная коллекция Голбена под угрозой!»

Как стало известно, большая часть уникальных оранжерей г-на Голбена охвачена новой, до сих пор не известной болезнью, занесенной, скорее всего, из Боливии. Болезнь поражает преимущественно кактусы, некоторое время протекает латентно, а позже выражается в гниении корней, шейки и тела кактусов. Поскольку заболевание представляется весьма заразным и разносится пока не распознанными микроспорами, коллекция Голбена для обозрения закрыта».

Дней через десять — все это время мы вынуждены были скрываться, чтобы нас не допекали расспросами встревоженные любители кактусов, — я послал в газеты еще одну заметку такого содержания:

Удастся ли спасти коллекции Голбена?

"Как стало известно, профессор Маккензи из Кью определил заболевание, возникшее во всемирно известных оранжереях

Голбена, как особый род тропической плесени (Malacorrhiza paraquayensis Wild) и рекомендовал обрызгивать пораженные экземпляры настойкой Гарварда-Лотсена. До сих пор лечение настойкой, которое широко проводится в оранжереях Голбена, проходило вполне успешно. Раствор можно приобрести и у нас в таком-то и таком-то магазине".

К моменту выхода этого номера газеты один тайный агент уже сидел в указанной лавчонке, а я устроился у телефона. Не прошло и двух часов, как этот агент позвонил мне и сообщил, что злодея уже схватили. А еще через десять минут я сам держал и тряс за шиворот маленького, тщедушного человека.

— Почему вы меня трясете? — протестовал человечек. — Я ведь пришел купить известный раствор Гарварда-Лотсена

— Знаю, — отвечал я — Только никакого такого раствора не существует, так же как нет никакой неизвестной болезни, а вот вы ходили в оранжереи красть кактусы из коллекции Голбена, мошенник проклятый!

— Слава тебе господи! — вырвалось у человечка, — так, значит, никакой болезни нету? А я-то десять ночей не спал от страха, боялся, что заразятся остальные мои кактусы!

Ухватив человечка за шиворот, я втолкнул его в машину и отправился вместе с ним и тайным агентом на его квартиру. Знаете, такого собрания кактусов я еще не видывал. Человечек этот снимал крохотную каморку — приблизительно так три на четыре метра — на чердаке дома в районе Высочан, — в углу на полу лежало одеяло, стояли столик и стул, а остальное пространство было сплошь заполнено одними кактусами; но какими редкостными и в каком порядке — вы бы посмотрели!

— Ну, так что он у вас стащил? — спросил тайный агент, а я все глядел, как этот разбойник трясется и глотает слезы.

— Послушайте, — говорю я агенту — На самом деле это не столь уж ценно, как мы думали; передайте своему начальству, что этот господин украл кактусов приблизительно так крон на пятьдесят и что я разберусь с ним сам.

Агент ушел, а я сказал злоумышленнику:

— Ну вот что, голубчик, сперва соберите в кучку, что вы у нас унесли.

Человечек быстро-быстро заморгал, потому что слезы готовы были брызнуть у него из глаз, и прошептал:

— А нельзя ли мне все-таки отсидеть срок в тюрьме?

— Нет, — заорал я, — сперва верните краденое!

Тут он начал собирать один горшок за другим и отставлять в сторону, — их набралось около восьмидесяти, — мы даже не представляли себе, сколько кактусов у нас не хватает; скорее всего, он крал у нас уже долгие годы. Спокойствия ради я еще прикрикнул:

— И это называется все?

Слезы полились у него из глаз; он вынул еще один беленький кактус De Lautii и одного Corniger'a, присоединил их к другим и, захлебываясь от плача, взмолился:

— Честное слово, ваших у меня больше нет.

— Это мы еще проверим! — бушевал я. — А теперь признавайтесь, как вы ухитрились перетаскать все эти горшки!

— Это было так, — заговорил он, запинаясь, и от волнения у него запрыгал кадык. — Я...я...гм... переодевался в платье...

— Какое платье? — взвизгнул я.

Тут он залился румянцем от смущения и, заикаясь, произнес:

— Женское, с вашего позволения...

— Господи, — удивился я, — да почему же в женское платье?

— П-потому что, — заикался он, — на обшарпанную старуху никто не обратит

внимания... Да и вообще, — добавил он почти победно, — никому в голову не придет подозревать женщину в чем-либо подобном. Знаете, женщины подвержены всевозможным страстям, но они сроду не собирали коллекций. Вам доводилось хоть раз в жизни встретить женщину, которая владела бы коллекцией марок или жуков, первоизданий или еще чемнибудь в том же роде? Никогда в жизни, ваша милость! У женщины нет такой основательности и... и фанатизма. Женщины так ужасающе трезвы, ваша милость! И знаете, самое большое различие между нами и ними в том, что одни мы занимаемся коллекционированием. По-моему, вселенная — это большое собрание светил; и, видимо, бог — мужчина что надо, раз он собирает коллекции миров, оттого их такое бесчисленное множество. Черт побери, если бы у меня было столько простора и средств, как у него! Знаете, я ведь выдумываю новые породы кактусов! И даже вижу их во сне; вот, например, кактус с золотистыми волосиками и небесно-голубыми цветочками, как у горечавки, — я назвал его *Cephalocereus nympha aurea* Racek; дело в том, что моя фамилия Рачек, с вашего позволения, либо или *Mamillaria colubrine* Racek или *Astrophytum caespitosum* Racek.

Какие изумительные возможности, сударь! Если бы вы знали...

— Погодите, — прервал я его, — а как же вы уносили горшочки с кактусами?

— За пазухой, извините, — застыдился он. — Они так приятно щекочат...

Вы знаете, у меня уже не хватало духу забрать у него эти кактусы.

— Послушайте, — предложил я, — давайте я отвезу вас к старому Голбену, пусть он сам надерет вам уши

Вот была встреча, когда эти двое обнюхали друг друга! Целую ночь они провели в оранжереях и обошли все тридцать шесть тысяч горшков!

— Голан, — сказал мне потом старый хозяин, — это первый человек, который в состоянии понять, что такое кактусы!

Не прошло и месяца, как старый Голбен со слезами и благословениями отправил новоявленного знатока по имени Рачек собирать кактусы в Мексику; оба свято верили, что где-то там и растет *Cephalocereus nympha aurea* Racek. Несколько месяцев спустя мы, однако, получили поразившее нас известие, что пан Рачек погиб, приняв прекрасную и мученическую смерть. Он обнаружил у каких-то индейцев священный кактус Чикули, а этот Чикули — к слову сказать — единородный брат бога отца, и то ли он ему не поклонился, то ли даже похитил, только милейшие индейцы, связав пана Рачека, посадили его на *Echinocactus visnaga* Hooker, большой, как слон, усеянный шипами, длинными, словно русские штыки, вследствие чего наш соотечественник, предоставленный собственной судьбе, испустил дух. Так окончил жизнь похититель кактусов.

Рассказ старого уголовника

— Это что, — сказал пан Лидера, писатель, — разыскивать воров — дело обычное, а вот что необычно, так это когда сам вор ищет того, кого, собственно, обокрал. Так, к вашему сведению, случилось со мной. Написал я недавно рассказ и опубликовал, — и вот когда стал я читать его уже напечатанным, охватило меня какое-то тягостное ощущение. Братец, говорю себе, а ведь что-то похожее ты уже где-то читал... Гром меня разрази, у кого же я украл эту тему? Три дня я ходил, как овца в вертячке, и — ну, никак не вспомню, у кого же я, как говорится, позаимствовал. Наконец встречаю приятеля, говорю: слушай, все мне как-то кажется, будто последний мой рассказ с кого-то списан.

— Да я это с первого взгляда понял, — отвечает приятель, — это ты у Чехова слизал. — Мне тут прямо-таки легче стало, а потом, в разговоре с одним критиком, я и

скажи: вы не поверите, сударь, порой допускаешь плагиат, сам того не зная; к примеру, вот ведь последний мой рассказ-то — ворованный!

— Знаю, — отвечает критик, — это из Мопассана. — Тогда обошел я всех моих добрых друзей... Послушайте, коли уж ступил человек на наклонную плоскость преступления, то остановиться ему никак невозможно! Представьте, оказывается, этот единственный рассказ я украл еще у Готтфрида Келлера, Диккенса, д'Аннунцио, из «Тысячи и одной ночи», у Шарля Луи Филиппа, Гамсуна, Шторма, Харди, Андреева, Банделло, Розеггера, Реймонта и еще у целого ряда авторов! На этом примере легко видеть, как все глубже и глубже погрязает во зло...

— Это что, — возразил, хрипло откашливаясь, пан Бобек, старый уголовник. — Это мне напоминает один случай, когда убийца был налицо, а вот подобрать к нему убийство никак не могли. Не подумайте чего, это было не со мной; просто я с полгода гостил в том самом заведении, где этот убийца сидел раньше. Было это в Палермо. — И пан Бобек скромно пояснил: — Я туда попал всего-то из-за какого-то чемоданишки, который подвернулся мне под руку на пароходе, шедшем из Неаполя. И про случай с этим убийцей мне рассказал старший надзиратель того дома; я, видите ли, учил его играть в «францисканца», «крестовый марьяж» и «божье благословение» — эту игру еще иначе называют «готисек». Очень уж он набожный был, этот надзиратель.

Так, значит, раз ночью ихние фараоны — а они в Италии всегда парочками ходят — видят: по виз Бутера — это та улица, что ведет к ихнему вонючему порту, — во все лопатки чешет какой-то тип. Они его хватают, и — рогсо *dio!* [*Итальянское ругательство*] — в руке-то у него окровавленный кинжал. Ясное дело, приволокли его в полицию, говори, мол, теперь, парень, кого пришил. А парень — в рев, и говорит: убил, говорит, я человека, а больше ничего не скажу; потому как если скажу больше, то сделаю несчастными других людей. Так они ничего от него и не добились.

Ну, известно — сейчас же мертвое тело кинулись искать, да ничего такого не нашли. Велели осмотреть всех «дорогих усопших», заявленных в то время как покойники; однако все, оказалось, умерли христианской смертью, кто от малярии, кто как. Тогда опять взялись за того молодца. Он назвался Марко Биаджо, столярным подмастерьем из Кастрожованни. Еще он показал, что нанес этак ударов двадцать человеку христианского происхождения и убил его; но кто этот убитый, он не скажет, чтоб не втягивать в беду других людей. И — баста! Кроме этих слов он все только божью кару на себя призывал да колотился головой об пол. Такого раскаяния, говорил надзиратель, в жизни еще никто не видывал.

Однако, сами знаете, фараоны ни одному слову не верят; говорят они себе — может, этот Марко вовсе никого не убивал, а так только, врет. Послали его кинжал в университет, и там сказали, что кровь на клинке чужья, надо быть, сердце он этой штукой проткнул. Ну, прошу прощения, а я все-таки не понимаю, как это они могут узнать. Н-да, так что же им теперь делать: убийца вот он, а убийства нет! Нельзя же судить человека за неизвестное убийство; сами понимаете, должен тут быть *corpus delicti* [*состав преступления (Лат.)*]. А Марко этот между тем все молится, да хнычет, да просит, чтоб его уж поскорей суду предали, хочет он свой смертный грех искупить. Ты, рогса *Madonna*, говорят ему, коли хочешь, чтоб правосудие тебя осудило, признайся, кого ты зарезал; не можем мы тебя повесить просто так; ты нам, проклятый мул, хоть свидетелей каких назови! «Я сам и есть свидетель! — кричит Марко, — я присягну, что убил человека!» Вот ведь какое дело-то...

Надзиратель говорил мне еще, что был этот Марко красивый такой, славный парень; испокон веку не было у них такого славного убийцы. Читать он не умел, но Библию, хоть и держал ее вверх ногами, из рук не выпускал, и все ревел. Подослали тогда к нему одного патера, доброты ужасной, чтоб дал он ему духовное утешение да между прочим на исповеди ловко бы и выведал, как с этим убийством дело было. Так этот патер, когда выходил от Марко, слезы утирал; говорит, коли не испортится еще как-нибудь этот арестант, то наверняка сподобится великой милости; мол, это душа, жаждущая справедливости. Однако, кроме таких вот речей да слез, ничего от него и патер не дождался. «Пусть меня повесят, и

баста, — твердил Марко, — пусть уж я искуплю тяжкую мою вину; без справедливости нельзя!» Так тянулось дело полгода с лишком, а все не могли подыскать подходящий труп.

Видя, что, в общем, какая-то глупость получается, говорит начальник полиции: тысяча чертей, коли этот Марко во что бы то ни стало желает, чтоб его повесили, отдадим ему то убийство, что случилось через три дня после его ареста, там, в Аренелле, где нашли ту зарезанную бабу; просто позор, тут У нас убийца без убийства и без трупа, а там этакое славное. Добротное убийство, а преступника нет. Свалите все это как-нибудь в одну кучу; если этот Марко хочет, чтоб его осудили, то ему ведь все равно за что; а уж мы ему всячески навстречу пойдем, пусть только эту бабу на себя возьмет. Ну, предложили это дело Марко, обещав, что тогда он наверняка вскорости получит петлю на шею и будет ему покой. Марко маленько поколебался, да и говорит: нет, раз уж погубил я душу убийством, то не стану обременять ее еще такими смертными грехами, как ложь, обман и клятвопреступление. Такой уж, господа, был он справедливый человек.

Ну, дальше некуда, — теперь они там в уголовной полиции думали только о том, как бы им от проклятого Марко избавиться. «Знаете что, — говорят они надзирателю, — сделайте как-нибудь так, чтоб он мог бежать; предать суду мы его не можем, это срамиться только, и отпустить его на свободу тоже нельзя, поскольку он сознался в убийстве; так что постарайтесь, чтоб этот *die cane maledetto* как-нибудь незаметно смылся». Так слушайте же, стали с тех пор этого Марко в город посылать, без конвоя — за перцем там, за нитками; днем и ночью камера его стояла настежь, а Марко целыми днями шлялся по церквам и ко всем святым, а к восьми вечера, бывало, мчится, высунув язык, чтоб у него перед носом не захлопнули тюремные ворота. Один раз их нарочно закрыли раньше, так он поднял такой гвалт, так колотил в эти ворота, что пришлось открыть, впустить его в камеру.

Вот раз вечером и говорит ему надзиратель: «Эй ты, *rogas Madonna* [*Итальянское ругательство*], нынче ты здесь в последний раз ночуешь; раз не желаешь признаться, кого убил, то мы тебя, бандит этакий, отсюда вышвырнем; иди ты к черту, пусть он тебя и наказывает!» В ту ночь Марко повесился на окне своей камеры...

Знаете, тот патер, правда, говорил, что если кто кончает с собой из-за угрызений совести, то хоть и тяжкий это грех, а все же может такой человек спасти душу, поскольку умер в состоянии действенного раскаяния. Но, скорее всего, патер тут что-то путал, вопрос-то ведь до сих пор спорный. Короче, поверьте мне, дух этого Марко с тех пор так и жил в его камере. Получалось вот что: как кого в эту камеру засадят, так в том человеке просыпается совесть, начинает он раскаиваться в своих поступках, и покаяние творит, и полностью обращается. Конечно, каждому на это свое время требовалось: кто простой проступок совершил, тот в одну ночь обращался, кто легкое преступление — за два-три дня, а настоящие злодеи и по три недели маялись, пока обратятся. Дольше всего держались медвежатники, растратчики и вообще те, кто у больших денег ходит; я вам говорю, от больших денег совесть как-то особенно недоступной, что ли, делается, вроде ей рот затыкают. Но сильнее всего действовал дух Марко в день его смерти. Так они там в Палермо устроили из этой камеры что-то вроде исправительного заведения, понимаете? Сажали туда арестантов, чтоб те раскаялись в своих злодеяниях и обратились. Конечно, есть и такие преступники, что пользуются у полиции протекцией, а некоторые этим сволочным фараонам просто нужны — так что, ясное дело, не всякого в эту камеру совали, оставляли кое-кого и без обращения, — думается мне, они даже, случалось, и взятки брали с крупных мерзавцев за обещание не сажать их в чудотворную камеру. Нынче уж и в чудесах никакой честности нет... Вот что, господа, рассказал мне этот надзиратель в Палермо, и коллеги бывшие тогда там все это подтвердили. Как раз сидел там за бесчинство и драку один английский матрос по фамилии Бриггс; так этот самый Бриггс из той камеры прямиком на Формозу подался, миссионером, и, я потом слышал, сподобился мученической смерти. И вот еще странность: ни один надзиратель не желал и носа сунуть в Маркову камеру — до того они боялись, что, не дай бог, на них сойдет благодать я в своих делах...

Так вот, как я уже говорил, обучал я тамошнего старшего кое-каким играм, что

понабожнее. Эх, как он ярился, когда проигрывал! Раз как-то шла к нему особенно мерзкая карта, это его и вовсе допекло, и запер он меня в Маркову камеру. «Per Vasso [*Клянусь Вакхом (итал.)*], кричит, я тебя проучу!» А я лег, да и уснул. Утром вызывает меня надзиратель, спрашивает: ну что, обратился? «Не знаю, говорю, Signore commandante [*господин начальник (итал.)*]; я спал как сурок». — «Тогда марш обратно!» — кричит. Да что растягивать — три недели просидел я в этой камере, а все ничего; никакое такое раскаяние на меня не снизошло. Тут стал надзиратель головой качать, говорит: вы, чехи, верно, страшные безбожники или еретики, на вас ничего не действует! И обругал меня ужасными словами.

И знаете, с тех пор Маркова камера вообще перестала действовать. Кого бы туда ни совали, никто больше не обращался, и ничуть лучше не становился, и не раскаивался — ну, нисколько! Одним словом, прекратилось действие. Ох, боже ты мой, и скандал же поднялся! Меня и в дирекцию таскали, мол, чего-то я там у них расстроил и всякое такое. Я только плечами пожимаю: я-то тут при чем? Тогда они мне трое суток темного карцера влепили — за то, говорят, что я эту камеру испортил.

Исчезновение господина Гирша

— Недурной случай, — сказал господин Тауссиг, — но с большим недостатком, раз он произошел не в Праге, ведь даже в уголовных делах надо думать об интересах родины. Ну, скажите на милость, что нам до событий, которые произошли в Палермо или еще черт знает где? Какой нам от этого толк? А вот если интересное преступление совершается в Праге, так это, по-моему, господа, даже лестно. О нас, думаю я себе, сейчас говорит весь мир, так вроде и на душе приятнее. Ну и понятно, там, где совершается приличное уголовное преступление, и торговля идет живой: ведь оно свидетельствует о благополучии жителей и вообще вызывает доверие, не так ли? Но для этого нужно, чтобы преступник был пойман.

Не знаю, помните ли вы историю старого Гирша с Долгого проспекта. Он торговал кожами, но случалось ему продавать персидские ковры и тому подобные вещи восточного происхождения. Долгие годы он вел какие-то дела с Константинополем и там же подхватил болезнь печени, а потому был тощий, словно дохлая кошка, и желтый, как будто его вытащили из Дубильного чана. А эти самые торговцы коврами -то ли армяне, то ли турки из Смирны — ходили к нему, потому что он умел с ними по-свойски договориться. Они, эти самые армяне, страшные мошенники, с ними даже еврей должен быть начеку. Так вот, на первом этаже у Гирша была кожаная лавка, а оттуда вверх вела винтовая лесенка в контору, за которой находилась его квартира, где сиднем сидела госпожа: она была такая толстая, что и двигаться не могла.

Так вот, однажды, около полудня, один из приказчиков поднялся вверх к господину Гиршу узнать, нужно ли послать некоему Вайлю в Брно кожу в кредит; но Гирша в конторе не оказалось. Это было странно, конечно, по приказчик подумал, что господин Гирш заглянул к жене. Однако вскоре вниз спустилась служанка звать господина Гирша обедать.

— Как так обедать? — удивился приказчик. — Ведь господин Гирш дома.

— Да как же дома? — отвечает служанка, — госпожа Гиршова целый день сидит рядом с конторой и не видела мужа с самого утра.

— И мы, — заметил приказчик, — тоже его не видели, правда, Вацлав?

Вацлав этот был слуга.

— В десять часов я отнес ему почту, — сказал приказчик, — господин Гирш еще рассердился, потому что мы должны были настоятельно напомнить Лембергеру о дубленых телячьих кожах, — после хозяин и носу не высунул из конторы.

— Господи, — воскликнула служанка, — ведь в конторе-то его нет! Не отправился ли он куда-нибудь в город?

— Через лавку он не проходил, — ответил приказчик, — мы бы непременно его увидели, правда ведь, Вацлав? Может, он вышел через квартиру?

— Это невозможно, — твердила свое служанка, — госпожа Гиршова увидела бы его!

— Погодите, — сказал приказчик, — когда я к нему вошел, он сидел в халате и в шлепанцах, — сходите-ка да поглядите, не надел ли он ботинки, калоши и зимнее пальто. — Дело-то было в ноябре, шел сильный дождь.

— Если он оделся, — говорит приказчик, — значит, куда-то в город, а если нет, то должен быть дома, вот и все.

Служанка помчалась наверх, но тут же вернулась сама не своя.

— Боже мой, господин Гуго, говорит она приказчику, ведь хозяин, господин Гирш, не надевал ботинки, ничегошеньки не надевал, а госпожа Гиршова уверяет, что из квартиры он выйти не мог, потому как тогда ему пришлось бы проходить через ее комнату!

— Через лавку он тоже не проходил, — сказал приказчик, — его сегодня вообще тут не было, вот только он вызвал меня с почтой в контору. Вацлав, пойдемте его искать.

Первым делом побежали в контору. Там не было заметно никакого беспорядка: в углу — несколько скатанных ковров, на столе — недописанное письмо Лембергеру, над столом горел

газовый рожок.

— Тогда совершенно ясно, — сказал Гуго, — господин Гирш никуда не уходил; иначе погасил бы лампочку, не правда ли? Он должен быть дома.

Но обыскали всю квартиру, а Гирш словно сквозь землю провалился. Госпожа Гиршова в своем кресле рыдала навзрыд. Казалось, — рассказывал потом Гуго, — будто трясется груды студня.

— Госпожа Гиршова, — сказал тогда Гуго (удивительное дело, как это молодой еврей, когда понадобится, сразу все сообразит). — Не плачьте, госпожа Гиршова, господин Гирш никуда не сбежал, — кожи идут хорошо, кроме того, он не инкассировал никаких долговых исков, не так ли? Где-нибудь шеф должен быть. Если он до вечера не объявится, сообщим в полицию, но не раньше, госпожа Гиршова, — сами понимаете: такое необычное происшествие фирме не на пользу.

Прождали, значит, до вечера и все искали господина Гирша, а о нем ни слуху ни духу. В надлежащее время господин Гуго закрыл лавку и отправился в полицию заявить, что господин Гирш исчез. Тогда из полиции прислали детективов; они прочесали весь дом, но нигде не нашли ни малейших следов; и кровь на полу искали — нигде ничего, ограничились тем, что контору на время опечатали. Потом, допросив госпожу Гиршову и весь персонал, разузнали все, что делалось с самого Утра. Никто не сообщил ничего особенного, только господин Гуго вспомнил, что после десяти к господину Гиршу заходил коммивояжер Лебеда и проговорил с ним минут десять. Стали Разыскивать этого Лебеду и, конечно, нашли его в кафе "Бристоль" — он играл там в рамс. Лебеда живо припрятал банк, а детектив его успокоил: — Господин Лебеда, сегодня я не по поводу рамса, я по поводу господина Гирша: он, представьте себе, пропал, и вы последний, кто его видел.

Так вот, этот Лебеда тоже ничего не знал: заходил он к господину Гиршу из-за каких-то ремней и ничего странного не заметил, только господин Гирш показался ему болезненнее обычного.

«Что — то вы похудели, господин Гирш», заметил еще Лебеда.

— Однако, господин Лебеда, — произнес полицейский, — если бы даже господин Гирш похудел еще больше, так и то не мог раствориться в воздухе, какая-никакая косточка или же челюсть должны бы от него остаться. И в портфеле унести вы его тоже не могли.

И знаете, как дело обернулось. Вам, наверное, известно, что на вокзале есть камеры хранения, где пассажиры оставляют всевозможные вещи и чемоданы. Так вот, дня через два после исчезновения господина Гирша какая-то приемщица сообщила одному из носильщиков, что ей сдали чемодан и он ей почему-то очень не нравится.

— Сама не понимаю отчего, — сказала она, — только этот чемодан прямо страх на меня наводит.

Носильщик подошел к чемодану, понюхал и говорит:

— Мамаша, знаете что, заявите-ка вы о чемодане в железнодорожную полицию.

Полиция привела собаку-ищейку; та обнюхала чемодан, зарычала, и вся шерсть на ней дыбом поднялась. Это было уж чересчур подозрительно, чемодан вскрыли, а в нем оказался труп господина Гирша в халате и в шлепанцах. Больная печень Гирша дала о себе знать — от бедняги уже пахло. В шею ему впился толстый шпагат — он был задушен. Но оставалось невыясненным, как он в халате и шлепанцах попал из своей конторы в чемодан на вокзале?

Дело это расследовал полицейский комиссар Мейзлик. Поглядел он на труп и вдруг увидел на лице и на руках этакие зеленые, синие и красные пятна; это тем более лось в глаза, что господин Гирш был очень смуглый. «Странные признаки разложения», — подумал Мейзлик и одно такое пятно попробовал потереть носовым платком — оно и слинял.

— Послушайте, — сказал тогда Мейзлик остальным, — а ведь похоже, что это пятно анилиновое. Я должен еще раз заглянуть в контору.

В конторе он все искал, нет ли там каких-нибудь красок, — красок там не оказалось, но неожиданно на глаза ему попались скатанные персидские ковры. Он развернул один и потер синюю завитушку носовым платком, смочив его слюной, и на платке появилось синее пятнышко.

— Ну и барахло эти ковры, — сказал Мейзлик и стал искать дальше; на столе, на подставке чернильницы, у господина Гирша нашлись два или три окурка турецких сигарет.

— Запомните, дружище, — сказал Мейзлик одному детективу, — что при сделках с продавцами персидских ковров всегда курят одну сигарету за другой — таков уж восточный обычай.

Потом Мейзлик вызвал Гуго.

— Господин Гуго, — сказал Мейзлик, — тут после Лебеды еще кто-то побывал, так ведь?

— Да, — ответил Гуго, — только господин Гирш не желал, чтобы об этом пошли разговоры. «Ваше дело кожи, — посоветовал он нам, — а ковры вас не касаются, это мое дело...»

— Все понятно, — говорит тогда Мейзлик, — это ведь контрабандные ковры; посмотрите, ни на одном нет таможенной пломбы. Если бы господин Гирш не отправился на тот свет, у него сейчас было бы по горло хлопот на Гибернской, он заплатил бы такой штраф, что посинел бы от злости. Ну, быстро, отвечайте, кто тут еще был?!

— Гм, — ответил Гуго, — около половины одиннадцатого в открытом лимузине приехал армянский или еще какой-то там еврей, такой толстый и желтый, и спросил не то по-турецки, не то еще как — господина Гирша. Ну, я ему показал, как пройти вверх в контору. А с ним шагала этаким верзила — слуга, худой, будто щепка, и черный, как черная кошка. Он нес на плече пять большущих скатанных ковров — мы еще с Вацлавом подивились, как это он их поднимал. Оба они прошли в контору и пробыли там минут пятнадцать; нас это не интересовало; впрочем, вес время было слышно, как этот нечестивец говорит с господином Гиршем. Потом слуга спустился, плече у него было теперь только четыре скатанных ковра. «Ага, — подумал я, — значит, господин Гирш опять купил ковер». Да, этот армянин в дверях конторы еще раз обернулся и что-то сказал господину Гиршу, но что именно, я так и не разобрал. Ну, потом верзила швырнул ковры в автомобиль, и они уехали. Я не говорил об этом только потому, что ничего удивительного тут не было, — таких торговцев коврами у нас перебивало видимо невидимо, и все, как один, — мошенники.

— Знаете ли, господин Гуго, — ответил доктор Мейзлик, — странное-то тут было в одном из свернутых ковров верзила и вынес труп господина Гирша, понимаете? Черт побери, ведь вы, друг мой, могли заметить, что этот парень поднимался вверх легче, чем спускался вниз!

— Правда, — сказал, побледнев, Гуго, — он шел прямо-таки согнувшись пополам! Но,

господин комиссар, это невозможно толстый армянин шел сзади и еще в дверях конторы разговаривал с господином Гиршем

— Ну да, — возразил Мейзлик, — разговаривал, обращаясь к пустой комнате. А когда верзила душил господина Гирша, армянин все время молот языком, так-то вот. Господин Гуго, армянский еврей похитрее вас будет. Ну, а там они отвезли труп, завернутый в ковер, к себе в отель, от дождя паршивый ковер, крашенный анилином, полинял и испачкал господина Гирша. Это ясно, как дважды два — четыре, вот так-то А в отеле бранные останки господина Гирша втиснули в чемодан и отправили на вокзал Вот как господин Гуго, обстояло дело!

Пока господин Мейзлик во всем разбирался, тайные агенты напали на след армянина На чемодане то сохранилась наклейка одного берлинского отеля — из этого следовало, что армянин не скупился на чаевые, ведь портье этими наклейками дают друг другу знать по всему миру, какие чаевые можно получить с клиента. Армянин платил настолько щедро, что берлинский портье запомнил его фамилию — Мазаньян; тот ехал в Вену через Прагу, но сцапали его только в Бухаресте; в предварительном заключении он повесился За что армянин убил Гирша, никто не знает, скорей всего, сводил какие-то старые счета, еще с тех времен, когда господин Гирш жил в Константинополе.

— Этот случай доказывает, — задумчиво закончил господин Тауссиг, — что самое главное дело в торговле — добросовестность. Торгуй армянин настоящими коврами, а не выкрашенными дешевым анилином, на след убийцы напали бы не слишком скоро, не так ли? А торговать браком — это всегда боком выходит, не так ли?

Редкий ковер

— Гм... — сказал доктор Витасек. — Я, знаете ли, тоже кое-что смыслю в персидских коврах. Согласен с вами, господин Таусиг, что нынче они не те, что прежде. В наши дни эти восточные пройдохи не утруждают себя окраской шерсти кошенилью, индиго, шафраном, верблюжьей мочой, чернильным орешком и разными другими благородными органическими красителями. Да и шерсть уже не та, а узоры такие, что смотреть противно. Да, утрачено искусство ткать персидские ковры! Потому-то в такой цене старинные, вытканые до тысяча восемьсот семидесятого года. Но такие уники попадают в продаже очень редко, только когда какая-нибудь родовитая фамилия «по семейным обстоятельствам», — так в почтенных домах называют долги, — реализует дедовские ценности. Однажды в Рожмберкском замке я видел настоящий «трансильван», это, знаете ли, такие молитвенные коврики, турки выделяли их в семнадцатом веке, когда еще хозяйничали в Трансильвании. В замке туристы топают по нему горными подкованными ботинками, и никто понятия не имеет, какая это ценность... ну, просто хоть плачь! А один из самых драгоценных ковров в мире находится у нас, в Праге, и никто об этом не знает.

Дело обстоит так. Я знаю всех торговцев коврами, какие есть в нашем городе, и иногда захожу к ним поглядеть на товар. Видите ли, их закупщикам в Анатолии и Персии иной раз попадает старинный ковер, украденный в мечети или еще где-нибудь, они суют его в тюк обычного метрового товара и потом он продается на вес, что бы в нем ни было. Вот я и думаю, не попадет ли мне в таком тюке «ладик» или «бергамо». Потому-то я и заглядываю в эти лавки, сажусь на кипу ковров, покуриваю и гляжу, как купцы продают профанам всякие там «бухары», «тавризы» и «саруки» Иной раз спросишь: «А что это у вас в самом низу, вот этот, желтый?» И, глядь, оказывается, «хамадан».

Так вот, зашел я однажды в Старом Месте к некоей госпоже Севериновой, у нее лавка во дворе, и там иногда попадают отличные «караманы» и «келимы». Хозяйка лавки — такая круглая веселая дама, очень словоохотливая. У нее есть любимая собака, пудель, этакая жирная сука, глядеть тошно. Толстые собаки обычно сварливы и как-то астматически и раздраженно тявкают, я их не люблю. А кстати, видел кто-нибудь из вас молодого пуделя? Я — нет. По-моему, все пудели, как и все инспекторы, ревизоры, акцизные надзиратели,

всегда в летах, такая уж это порода. Но так как я хотел поддерживать с Севериновой дружеские отношения, то обычно присаживался в том углу, где на большом, вчетверо сложенном ковре сопела и пыхла ее собачонка Амина, и почесывал этой твари спину — Амине это очень нравилось.

— Госпожа Северинова, — говорю я однажды, — что-то плохо у вас идет торговля. Ковер, на котором я сижу, лежит тут уже три года.

— Куда там, дольше! — отвечает хозяйка лавки. — Он в этом углу лежит добрых десять лет. Да это не мой ковер

— Ага, — говорю я, — так он принадлежит Амине.

— Ну, что вы, — засмеялась Северинова, — не ей, а одной даме. У нее дома тесно, держать его негде, вот она и положила ковер у меня. Мне он порядком мешает, но по крайней мере есть на чем спать Амине. Верно, Аминочка?

Я отвернул угол ковра, хотя Амина сердито заворчала.

— Довольно старый ковер, — говорю. — Можно на него посмотреть?

— Конечно, — отозвалась хозяйка и взяла Амину на руки. — Поди сюда. Амина, господин только посмотрит, а потом ты опять ляжешь. Куш, Амина, нельзя ворчать! Ну, иди, иди сюда, дурочка!

Тем временем я развернул ковер, и сердце у меня екнуло, — это был белый анатолийский ковер семнадцатого века, местами протертый до дыр, представьте себе! — так называемый «птичий» — с изображением каких-то сказочных существ и птиц, — это запрещенные магометанской религией, мотивы. Уверяю вас, такой ковер — неслыханная редкость! А этот экземпляр был не меньше, чем пять на шесть метров и восхитительной расцветки; белый с бирюзово-синим и вишнево-алым узором. Я отвернулся к окну, чтобы хозяйка не видела моего лица, и говорю:

— Довольно ветхая штука, госпожа Северинова, а тут он у вас и вовсе слежится. Знаете что, скажите вашей даме, что я куплю этот ковер, ежели ей негде его держать.

— Не так-то это просто, — отвечает Северинова. — Ковер не продается, а владелица его живет все больше в Мерано и Ницце. Я даже не знаю, когда она бывает здесь. Но попробую узнать.

— Будьте добры, — сказал я равнодушнойшим тоном и ушел. К вашему сведению: купить вещь за бесценок — дело чести коллекционера. Я знаю одного очень известного и богатого человека, который собирает книги. Ему ничего не стоит отдать тысячу-другую за какую-нибудь старую книжонку, но, если удастся купить у старьевщика за две кроны первое издание стихов Иозефа Красослава Хмеленского, он чуть не прыгает от радости. Это тоже спорт, вроде охоты на серн. Вот и втемяшилось мне в голову по дешевке купить «птичий» ковер и подарить его музею, потому что такому уникальному предмету место только там. И чтобы рядом повесили табличку с надписью «Дар доктора Витасека». Что поделаешь, каждый тщеславен на свой лад. Признаюсь, я прямо-таки потерял покой.

Немалых усилий стоило мне назавтра же не побежать к Северинихе. Я только и думал, что о «птичьем» ковре. «Надо выждать еще денек», — твердил я себе каждое утро. Человеку иногда хочется помучить самого себя.

Недели через две мне пришло в голову, что тем временем кто-нибудь другой может перехватить «птичий» ковер у меня под носом, и я помчался в лавку.

— Ну, как? — кричу еще в дверях.

— Что как? — удивилась госпожа Северинова.

Я спохватился.

— Да вот, — говорю, — проходил мимо вас и вспомнил об этом белом ковре. Продаст его та дама или нет?

Севериниха покачала головой.

— Бог весть! Она сейчас в Биаррице, и никто не знает, когда вернется.

Я поглядел, там ли еще ковер! Там! На нем лежит Амина, еще более разжиревшая и

облезлая, и ждет, чтобы я почесал ей спину.

Через несколько дней мне пришлось поехать в Лондон. Там я заодно зашел к Кейту — знаете, к сэру Дугласу Кейту, сейчас лучшему знатоку восточных ковров.

— Сэр, — говорю я ему, — сколько может стоить белый анатолийский ковер с джинами и птицами, размером пять на шесть метров?

Сэр Дуглас воззрился на меня сквозь очки и отрезал сердито:

— Нисколько.

— Как так нисколько? — говорю я, смутившись. — Почему же нисколько?

— Потому что ковров такой величины вообще не существует, — закричал на меня сэр Дуглас. — Следовало бы вам знать, сэр, что самый большой размер такого ковра — это три на пять ярдов!

Я весь залился краской от радости.

— Ну, а если бы все-таки существовал один такой экземпляр, сэр? Сколько бы он стоил?

— Нисколько, говорю вам, нисколько! — снова закричал сэр Кейт. — Это был бы уникум, а как можно определить цену уникума? Он может стоить и тысячу и десять тысяч фунтов. Почем я знаю?! Но такого ковра не существует, сэр. Всего хорошего!

Представляете себе, в каком настроении я вернулся домой. Пресвятая дева, я должен раздобыть этот «птичий» ковер! То-то будет подарок музею! Но вы понимаете, что теперь никак нельзя было слишком заметно нажимать на Северинову. Это шло бы вразрез с коллекционерской тактикой, да и торговка совсем не была заинтересована в продаже старого тряпья, на котором спала ее собака. А злобная баба, владелица ковра, все время переезжала то из Мерано в Остенде, то из Бадена в Виши. Наверное, она держала дома медицинскую энциклопедию и постоянно выискивала для себя разные болезни; в общем, она все время торчала на каком-нибудь курорте.

Ну, что ж, я стал раза два в месяц наведываться в лавку Севериновой, чтобы взглянуть, там ли еще «птичий» ковер. Обычно я чесал Амине спину, так что эта тварь повизгивала от удовольствия, и для отвода глаз каждый раз покупал какой-нибудь коврик. Знали бы вы, сколько у меня набралось всяких «ширазов», «ширванов», «моссулов», «кабристанов» и всякого такого заурядного товара! Но среди них был и один классический «Дербент», такой не сразу найдешь! И еще был старый синий «хорасан».

Что я пережил за эти два года, поймет только коллекционер! Терзания любви — ничто по сравнению с муками собирателя редкостей. И замечательно, что еще ни один из них не наложил на себя руки; наоборот, обычно они доживают до преклонного возраста. Видимо, это здоровая страсть.

Однажды Северинова говорит мне:

— Была у меня хозяйка ковра — госпожа Цанелли. Я ей передала, что находится покупатель на белый ковер, все равно он тут слезится. А она ни в какую. Это, мол, их семейная реликвия, и она не намерена продавать ее, пусть лежит, где лежал.

Ну, конечно, я сам побежал к этой госпоже Цанелли. Думал, она бог весть какая светская особа, а оказалось, что это препротивная старуха с сизым носом, в парике и физиономия у нее передергивается от тика, — рот то и дело кривится до уха.

— Сударыня, — говорю я, не сводя глаз с ее прыгающей губы. — Я охотно купил бы ваш белый ковер. Коврик, правда, уже старенький, но мне он как раз сгодился бы... в прихожую.

Жду, что она скажет, и чувствую, как и у меня рот начинает кривиться к левому уху. То ли этот ее тик был такой заразительный, то ли я очень разволновался, не знаю, только никак я не смог сдержаться.

— Как вы смеете! — накинулась на меня эта кикимора. — Сейчас же уходите отсюда, сейчас же! — визжала она. — Этот ковер — память о моем Gross-пара! Сейчас же уходите, не то я позову Polizei! Я не торгую коврами, я фон Цанелли, сударь! Мари, выведи этого человека!

Я, как мальчишка, скатился с лестницы, чуть не плача с досады и ярости. Но что было делать? После этого я еще целый год ходил в лавку Севериновой. За это время Амина еще больше растолстела, почти совсем облезла и стала хрюкать. Через год госпожа Цанелли снова вернулась в Прагу. На этот раз я не рискнул обращаться к ней сам и поступил недостойно для коллекционера: подослал к старухе своего приятеля, адвоката Бимбала, такого обходительного бородача, к которому женщины сразу проникаются доверием. Пусть, мол, предложит этой почтенной даме любую разумную цену за белый ковер. Сам я ждал внизу, на улице, волнуясь, как жених, который заслал сватов. Через три часа Бимбал, пошатываясь и утирая пот со лба, вышел из дома.

— Ты, чертов сын, — прохрипел он, — я тебя задушить готов! По твоей милости я три часа слушал историю рода Цанелли. Так знай же, — воскликнул он злорадно, — не видать тебе этого ковра. Семнадцать Цанелли перевернулись бы в могилах на Ольшанском кладбище, если бы эта семейная реликвия попала в музей. Черт побери, ну и намайлся же я из-за тебя!

И он удрал.

Вы сами знаете: мужчина не легко отступает от того, что взбрело ему в голову. А если он коллекционер, то готов пойти и на убийство. Собираение редкостей — это ведь героическое занятие. И вот я решил попросту выкрасть этот «птичий» ковер.

Прежде всего я разведал обстановку. Лавка Севериновой — во дворе, а ворота запирают в девять часов вечера. Отпирать их отмычкой я не захотел, потому что не умею. Но из-под арки можно войти в подвал и там спрятаться, пока не запрут дом. На дворе есть сарай, с крыши которого, если суметь на нее взобраться, легко перелезть в соседний дворик, где находится трактир. Ну, а оттуда убраться восвояси нетрудно. В общем, все это показалось мне довольно просто, главное — проникнуть в лавку через окно. Для этой цели я купил алмаз и попрактиковался на собственных окнах, вырезывая отверстия в стекле.

Не думайте, что кража — такое простое дело. Это куда труднее, чем оперировать предстательную железу или удалить у человека почку. Во-первых, нелегко провести дело так, чтобы тебя никто не увидел. Во-вторых, кража со взломом связана с долгим ожиданием и многими неудобствами. А в-третьих, вы все время находитесь в неизвестности: того и гляди нарвешься да какую-нибудь неожиданность. Говорю вам, воровство — скверное и малоодоходное ремесло. Если я когда-нибудь обнаружу вора в своей квартире, я возьму его за руку и скажу мягко: «Милый человек, и охота вам так утруждать себя? Не могли бы вы обкрадывать людей другим, более удобным способом?»

Не знаю, как воруют другие, но мой опыт оказался не очень-то приятным. В тот, как говорится, критический вечер я прокрался через ворота во двор и спрятался на лестнице, ведущей в подвал. Так, наверное, были бы описаны мои действия в полицейском протоколе. В действительности же картина получилась такая: с полчаса я в нерешительности проторчал под дождем у ворот, привлекая к себе всеобщее внимание. Наконец, с мужеством отчаяния, как человек, решивший вырвать зуб, я вошел в ворота... и, разумеется, столкнулся со служанкой, которая шла за пивом в соседний трактир. Чтобы рассеять возможные подозрения, я отпустил ей пару комплиментов, назвав ее не то бутончиком, не то кошечкой. Но она испугалась и пустилась наутек. Я спрятался на лестнице, что ведет в подвал. Там у этих нерях стояло ведро с золой и еще какой-то хлам; как только я туда проник, все это посыпалось с неопишным грохотом. Вскоре вернулась служанка с пивом и взволнованно сообщила привратнику, что какой-то тип забрался в дом. Но бравый страж не стал утруждать себя поисками и заявил, что, наверное, какой-нибудь пьянчужка спутал их ворота с соседним трактиром. Минут через пятнадцать он, зевая и сплевывая, запер ворота, и в доме настала полная тишина. Только где-то наверху оглушительно икала одинокая служанка. Удивительное дело, как громко икают эти служанки, наверное с тоски.

Мне стало холодно. На лестнице мерзко пахло кислятиной и плесенью. Я пошарил в темноте руками. Все, чего я касался, было покрыто какой-то слизью. Представляю, сколько там осталось отпечатков пальцев доктора Витасека, видного специалиста по болезням

мочевых путей!

Когда я решил, что уже полночь, было всего десять часов вечера. Я намеревался лезть в лавку после полуночи, но уже в одиннадцать не выдержал и отправился «на дело». Вы не представляете себе, какой шум поднимает человек, когда пробирается в потемках. На счастье, жители этого дома спали блаженным и беспробудным сном. Наконец я добрался до окна и со страшным скрипом стал резать стекло. Из лавки послышался приглушенный лай... А, чтоб ей пусто было, Амина!

— Амина, — прошептал я, — потише ты, стерва, я пришел почесать тебе спинку!

Но в темноте, знаете ли, очень трудно провести алмазом дважды по одной и той же линии. Я водил алмазом по стеклу, и, наконец, под нажимом вся пластинка со звоном вывалилась. «Теперь сбегутся люди, — сказал я себе, — куда бы спрятаться?» Но никто не прибежал. Тогда я с каким-то противоестественным спокойствием выдавил остальные стекла и открыл окно. Амина в лавке лишь слегка и для проформы заворчала сквозь зубы: я-де выполняю свою обязанность. Ну, я влез в окно, и скорее к этой мерзкой собаке.

— Амина, — шепчу ей ласково, — где твоя спинка? Я твой друг, зверюга... Тебе это нравится, шельма?

Амина прямо-таки извивается от удовольствия, — если только мешок сала может извиваться, — а я говорю ей дружески:

— Ну, а теперь пусти-ка, псина!

И хотел вытянуть из-под нее драгоценный ковер с птицами. Но тут Амина явно решила, что посягают на ее собственность, и запротестовала. Это уже был не лай, а настоящий рев.

— Тише, Амина, дрянь ты этакая! — принялся я ее уговаривать. — погоди, я подстелю тебе что-нибудь получше! — Я сорвал со стены препротивный блестящий «кирман», который Северинова считала перлом своего ассортимента. — Смотри, Амина, — говорю, — вот на этом коврикe ты чудесно будешь спать.

Амина глянула на меня с любопытством, но когда я протянул руку к ее коврику, взвизгнула так, что, наверное, было слышно в Кобылисах. Я снова разнежил ее улаживающим почесыванием и взял на руки. Но стоило мне потянуться к белому сокровищу с птицами и сказочными существами, как Амина астматически захрипела и залаяла. «О господи, вот скотина, — сокрушенно подумал я, — придется ее прикончить...»

Послушайте, я и сам этого не понимаю: гляжу на эту мерзкую, тучную, подлую собачонку, гляжу с величайшей ненавистью, какую когда-либо испытывал, а убить это чудовище не могу! У меня был с собой отличный нож, был брючный ремень, мне ничего не стоило зарезать или придушить Амину, но у меня не хватало духу. Я сидел рядом с ней на божественном ковре и чесал у нее за ухом. «Трус! — шептал я себе. — Одно или два движения — и все будет кончено. Ты оперировал столько больных, ты видел, как люди умирали в страхе и боли, почему же ты не убиваешь собаку?!» Я скрипел зубами, чтобы придать себе отваги, но... не мог! И тут я заплакал, видно от стыда. Амина заскулила и облизала мне лицо.

— Ты гнусная, подлая, мерзкая падаль! — заворчал я, похлопал ее по безволосой спине и вылез в окно на двор. Это был проигрыш и отступление.

Потом я хотел влезть на сарайчик и по крыше перебраться в другой двор и на улицу, но у меня не хватило сил, — то ли я совсем ослабел, то ли сарайчик оказался выше, чем мне показалось, одним словом, я не смог взобраться на него. Ну, и я снова спрятался на лестнице в подвал и простоял там до утра, чуть живой от усталости. Глупо, конечно: ведь можно было выспаться в лавке, на коврах, но мне это не пришло в голову. Утром, слышу, — отпирают ворота. Переждав несколько минут, я вышел из своего убежища и направился на улицу. В воротах стоял привратник. Он так обалдел, увидя чужого человека, что даже не поднял шума.

Через несколько дней я зашел навестить Северинову. Окно лавки было заделано решеткой, а на великолепном ковре с птицами, разумеется, валялась эта мерзкая, жабоподобная собака. Узнав меня, она приветливо завиляла толстой колбасой, которая у

других собак называется хвостом.

— Сударь, — просияв, сказала мне Северинова. — Вот она, наше золотко Амина, наше сокровище, наша милая собачка. Знаете ли вы, что к нам на днях через окно забрался вор и Амина его прогнала? Я ни за что на свете не расстанусь с ней... — гордо объявила она. — Но вас она любит — животное сразу понимает, где честный человек, а где вор. Верно, Амина?

Вот и все. Уникальный ковер лежит там и поныне. По-моему, это одно из драгоценнейших ковровых изделий в мире. И поныне на нем похрюкивает от удовольствия паршивая, вонючая Амина.

Надеюсь, что она скоро издохнет от ожирения, и тогда я предприму еще одну попытку. Но прежде мне надо научиться распиливать решетки...

1929

Истории о взломщике и поджигателе

— Что верно, то верно, — отозвался Илек. — Красть надо умеючи. То же самое говаривал Балабан, тот самый, что «сработал кассу» у фирмы Шолле и компания. Этот Балабан был просвещенный и вдумчивый взломщик, да и годами уже не молод, а это значит, что он, сами понимаете, был поопытнее других. Молодые все больше действуют в азарте. С маху, знаете ли, все может удаться, а вот как начнешь размышлять да рассуждать, кураж-то и проходит, берешься за дело лишь по зрелом размышлении. То же самое, как в политике и во всем прочем. «Так вот, — говаривал Балабан, — в каждом деле есть свои правила. Что же касается взлома денежных касс, то правила это такие: во-первых, всегда лучше работать в одиночку, потому что „медвежатник“ ни на кого не должен полагаться. Во-вторых, не следует долго работать в одном месте, чтобы не узнали твоей повадки. И, в-третьих, надо идти в ногу с эпохой и осваивать все новое по своей специальности. Но наряду с этим нельзя особенно выделяться, — лучше держаться на среднем уровне — чем больше нашего брата работает одинаково, тем труднее полиции ловить нас». Поэтому Балабан придерживался «фомки», хотя у него была электродрель и он умел работать с термитом. "К чему связываться с такими модными новинками, как бронированные сейфы? — рассуждал он.

— Все это от чрезмерного тщеславия и честолубия. Гораздо лучше старые солидные фирмы со старомодными стальными кассами, в которых хранятся деньги, а не какие-то там чеки".

Да, он всегда все хорошо обдумывал и взвешивал, этот Балабан. Помимо взломов, он торговал старинной бронзой, посредничал в сделках с недвижимостью, барышничал лошадьми и вообще был оборотистый человек.

И вот он решил в последний раз «сработать кассу». Это будет, мол, такая чистая работа, что молодежь рот разинет. Главное не в том, чтобы добыть побольше денег, главное, чтобы не засыпаться.

И вот Балабан выбрал свою «последнюю» кассу — у фирмы «Шолле и компания», знаете, фабрика в Бубнах, — и в самом деле «сработал» на редкость чисто. Мне об этом рассказывал полицейский сыщик Пиштора. Балабан влез в контору через окно, выходявшее во двор — вот, как и вы, господин Витасек, — но только ему пришлось перепилить решетку. «Поглядеть было приятно, — рассказывал этот Пиштора, — как ловко Балабан вынул решетку, даже не намусорил, до того аккуратно работал этот мастак». Кассу он вскрыл с первого же «захода», — ни одной лишней дырки или царапины, даже краску зря не содрал. «Сразу было видно, с какой любовью человек это делал», — говорил Пиштора. Эту кассу потом взяли в музей криминалистики как образец мастерской работы.

Вскрыв кассу, Балабан вынул деньги, тысяч около шестидесяти, съел кусок хлеба со шпиком, что принес с собой, и снова вылез в окно. «Для полководца и для взломщика отступление — главное», таково было его правило. Он спрятал деньги у двоюродной сестры, инструмент отнес к некоему Хибнеру, пришел домой, вычистил одежду и обувь, умылся и

лег спать, как всякий честный труженик.

Еще не было восьми утра, когда постучали в дверь. «Господин Балабан, откройте!» — «Кто бы это мог быть? — удивил с Балабан и с чистой совестью пошел отворить. Вваливают двое полицейских и с ними этот самый сыщик Пиштора. знаю, встречались ли вы когда-нибудь с ним: этакий маленький человечек, зубы, как у белки, и вечно усмехается. Когда-то он служил в похоронном бюро, но его уволили, потому что окружающие не могли удержаться от улыбки, видя, как он топает перед катафалком и забавно скалится. Я заметил, что многие стеснительные люди улыбаются от смущения; просто не знают, что делать с физиономией, как иные — куда деть руки. Вот почему эти люди так усердно ухмыляются, когда говорят с какой-нибудь высокопоставленной особой, например, с монархом или президентом... Не столько от удовольствия, сколько от смущения... Но вернемся к Балабану.

Увидя полицейских и Пиштору, он разразился справедливым негодованием:

— Вы што ко мне шуда лезете? Я ш вами не хочу иметь никакого дела...

Балабан сам удивился, как он шепелявит.

— Да что вы, господин Балабан, — усмехнулся Пиштора. — Мы пришли только взглянуть на ваши зубы. — И он подошел к расписной кружке, в которую Балабан клал на ночь свою вставную челюсть (он, видите ли, однажды неудачно прыгнул и окна и потерял все зубы). — А ведь верно, господин Балабан, — выразительно продолжал Пиштора, — плохо держатся эти зубные протезы, а? Когда вы сверлили кассу, зубы у вас Ходили ходуном, вот вы и вынули их и положили на стол. А там пыль... Сами должны бы знать, какая пылица в этих конторах. Ну, мы нашли след от этих зубов и отправились к вам. Уж вы не сердитесь, господин Балабан, вам надо бы ту пыль вытереть.

— Вот не повезло! — огорчился Балабан. — Да, Пиштора, недаром говорится, что от одной ошибки не уберется самый ловкий пройдоха.

— А вы сделали две, — осклабился Пиштора. — Едва мы осмотрели контору, как сразу решили, что это ваша работа. И знаете почему? Каждый порядочный взломщик обычно... извиняюсь... облегчается на месте преступления. Такая уж есть примета, что тогда тебя не поймают. А вы рационалист и скептик, суеверий не признаете, думаете, что во всяком деле достаточно только рассудка. Вот вам и результат. Да, господин Балабан, красть надо умеючи!

— Бывают такие сметливые люди, надо отдать им должное, — задумчиво сказал Малый. — Я читал об одном интересном случае, возможно, некоторые из вас о нем не знают, так вот, послушайте. Дело было где-то в Штирии, жил там шорник по имени Антон, а по фамилии не то Губер, не то Фогт или Мейер, в общем, этакая заурядная немецкая фамилия. Так вот, в день своих именин сидел этот шорник за праздничным столом в семейном кругу. Кстати, в этой Штирии плохо едят даже по праздникам, не то что у нас. Я, например, слышал, что у них едят даже каштаны. Так вот, этот шорник сидит себе после обеда со своим семейством, и вдруг кто-то стучит в окно.

— Сосед, у вас крыша горит!

Шорник выбегает на улицу — и верно, крыша у него вся в огне. Ну, конечно, дети ревут, жена с плачем выносит стенные часы. Много я видел пожаров и всегда замечал, что люди теряют голову и торопятся спасти что-нибудь ненужное, вроде часов, мельницы для кофе или клетки с канарейкой. А потом только спохватываются, что в горящем доме остались бабушка, одежда и всякие ценности.

Сбежались соседи, принялись тушить пожар, но больше мешали друг другу. Потом приехали пожарные. Сами знаете, пожарному надо переодеться, прежде чем ехать на пожар. Тем временем занялось соседнее строение, и к вечеру пятнадцать домов сгорели дотла.

Настоящий пожар можно, знаете ли, увидеть только в деревне или в небольшом

городке. Крупный город — совсем другое дело: там вы смотрите не на самый пожар, а на трюки пожарников. А лучше всего самому помогать тушить или хотя бы советовать тем, кто тушит. Гасить пожар — увлекательная работа: огонь так и шипит, так и фыркает... А вот носить воду из реки никому не нравится.

Странная у человека натура: если он видит какое-нибудь бедствие, ему хочется, чтобы оно было грандиозным. Большой пожар или большое наводнение как-то встряхивают человека. Ему кажется, что он получил от жизни что-то новое. А может быть, в нем просто говорит языческое благоговение перед стихией? Не знаю.

На следующий день там было, как... ну, словом, как на пожарище, лучше уж не скажешь. Огонь — красивая штука, но вид пожарища ужасен. Все равно как в любви. Смотришь беспомощно и думаешь, что от такой беды век не оправишься... Был там молодой полицейский, он расследовал причины пожара.

— Господин вахмистр, — сказал ему шорник Антон, — головой ручаюсь, что это поджог. Почему бы пожару случиться именно в день моих именин, когда я сидел за столом? В толк, однако, не возьму, кому это вздумалось мстить мне. Зла я никому не делаю, политикой не занимаюсь. Просто не знаю, кто мог иметь на меня зуб.

Был полдень, солнце светило вовсю. Вахмистр ходил по пожарищу, думая: «Черт теперь разберет, отчего загорелось».

— Слушайте, Антон, — спросил он вдруг, — а что это такое блесит у вас наверху, вон на той балке?

— Там было слуховое окно, — отвечал шорник. — Наверное, какой-нибудь гвоздик.

— Нет, это не гвоздик, — возразил полицейский. — Больше похоже на зеркальце.

— Откуда там быть зеркальцу? — удивился шорник. — На чердаке у меня только солома.

— Нет, это зеркальце, — отвечает вахмистр. — Я вам его покажу.

Приставил он пожарную лестницу к обгоревшей балке, влез наверх и говорит:

— Так вот оно что, Антон! Это не гвоздик и не зеркальце, а круглое стеклышко. Оно прикреплено к балке. Для чего оно там у вас?

— А бог его знает, — ответил шорник. — Верно, дети играли.

Полицейский рассматривал стеклышко да вдруг как вскрикнет:

— Ах, черт, оно жжется! Эго что же такое? — И потер себе кончик носа. — Тьфу, пропасть! — воскликнул он снова.

— Теперь оно мне руку обожгло. Ну-ка, Антон, живо подайте мне сюда клочок бумаги!

Шорник протянул ему листок из блокнота. Вахмистр подержал бумажку под стеклом

— Так вот, Антон, — сказал он через минуту, — по-моему, дело ясное.

Он слез с лестницы и сунул листок под нос шорнику. В листке была прожжена круглая дырочка, и края ее еще тлели.

— К вашему сведению, Антон, — продолжал вахмистр, — это стеклышко не что иное, как двояковыпуклая линза, или лупа. А теперь я хотел бы знать, кто укрепил эту лупу здесь, на балке, как раз у охапки соломы. И говорю вам, Антон, тот, кто это сделал, уйдет отсюда в наручниках.

— Господи Иисусе! — воскликнул шорник. — У нас и лупы-то в доме не было. Э-э, погодите-ка, — спохватился он.

— У меня был в ученье мальчишка, Зепп по имени, он вечно возился с такими штуками. Я его прогнал, потому что от него не было толку, в голове ветер да какие-то дурацкие опыты. Неужели пожар устроил этот чертов мальчишка?! Нет, этого не может быть, господин вахмистр, ведь я прогнал его в начале февраля. Бог весть, где он теперь, сюда с тех пор он ни разу не показал носу.

— Уж я-то дознаюсь, чья это лупа, — сказал вахмистр. — Дайте-ка телеграмму в город,

пусть пошлют сюда еще двух полицейских. А лупу чтобы никто пальцем не трогал. Первым делом надо найти мальчишку.

Ну, того, конечно, нашли, он был в ученье у какого-то корзинщика в другом городе. Едва полицейский вошел в мастерскую, мальчишка затрясся, как лист.

— Зепп! — крикнул на него вахмистр. — Где ты был тринадцатого июня?

— Здесь был здесь, — бормочет мальчик. — Я здесь с пятнадцатого февраля и никуда не отлучался, у меня свидетели есть.

— Он не врёт, — сказал хозяин. — Я могу подтвердить, потому что он живет у меня и нянчит маленькою.

— Вот так история! — удивился вахмистр. — Значит, это не он.

— А в чем дело? — заинтересовался корзинщик.

— Да вот, — объясняет вахмистр, — есть подозрение, что тринадцатого июня, где-то там, у черта на куличках, он поджег дом шорника, — и половина деревни сгорела.

— Тринадцатого июня? — удивленно говорит корзинщик. — Слушайте-ка, это странно, как раз тринадцатого числа Зепп вдруг спрашивает меня. «Какое сегодня число? Тринадцатое, день святого Антонина? сегодня кое-что должно случиться...»

Мальчишка вдруг вскочил и хотел дать тягу, но вахмистр ухватил его за шиворот. По дороге в кутузку Зепп во всем сознался: он был зол на шорника за то, что тот не позволял ему делать опыты и лупил Зеппа, как Сидорову козу. Решив отомстить хозяину, мальчик рассчитал, где будет стоять солнце в полдень тринадцатого июня, в день именин шорника, и укрепил на чердаке лупу под таким углом, чтобы загорелась солома, а он, Зепп, к тому времени смоемся подальше. Все это он подстроил еще в феврале и ушел от шорника.

И знаете что? Осмотреть эту лупу приезжал ученый астроном из Вены и долго качал головой, глядя, как точно она соответствует положению солнца в зените именно на тринадцатое июня «Это, говорит, изумительная сообразительность, если учесть, что у пятнадцатилетнего мальчишки не было никаких геодезических инструментов». Что было дальше с Зеппом, не знаю, но уверен, что из этого озорника вышел бы выдающийся астроном или физик. Вторым Ньютоном мог бы стать этот чертов мальчишка! В мире ни за что ни про что пропадает много изобретательности и замечательных дарований! У людей, знаете ли, хватает терпения искать алмазы в песке и жемчуг в море, а вот отыскивать дарования и таланты, чтобы они не пропадали впустую, это никому не придет в голову. А жаль!

Украденное убийство

— Это напоминает мне одно преступление, — сказал Гоудек, — которое было тоже хорошо задумано и подготовлено Боюсь только, что мой рассказ вам не понравится, так как у него нет конца, и тайна остается нераскрытой Если будет неинтересно, скажите, я не стану рассказывать.

Вы, кажется, знаете, что я живу на Круцбургской улице на Виноградах Это одна из тех коротких поперечных улиц, на которых нет ни трактира, ни прачечной, ни даже угольной лавки. Обитатели этой улицы ложатся спать в десять часов, кроме тех прожигателей жизни, которые слушают радио и поэтому залезают в постель около одиннадцати Живут здесь большей частью тихие налогоплательщики и мелкие чиновники (не выше седьмого класса табеля о рангах), среди них несколько любителей-ихтиологов, один музыкант, играющий на Цитре, два филателиста, один вегетарианец, один спирит и один коммивояжер, разумеется, приверженец теософии Остальное население улицы — это квартирохозяйки, у которых все эти жильцы занимают «чистые, элегантно обставленные комнаты с подачей утреннего завтрака» — как пишется в объявлениях Раз в неделю, по четвергам, коммивояжер-теософ возвращался Домой около полуночи, так как посещал какие-то душевспасительные беседы По вторникам поздно возвращались два натуралиста — у них бывали собрания кружка «Аквариум» — и обычно, остановившись под фонарем, спорили о живородках ч золотых рыбках Три года назад на нашей улице даже видели Пьяного, но, говорят, он был из Коширж

и просто заблудился

Зато ежедневно в четверть двенадцатого возвращался домой какой-то русский, по фамилии не то Коваленко, не то Копытенко, человек небольшого роста, с реденькой бородкой. Снимал он комнату у пани Янской в доме номер семь.

На что жил этот русский, никто не знал, но до пяти часов вечера он обычно валялся дома, потом брал портфель, шел к ближайшей остановке трамвая и ехал в центр города. Вечером, ровно в четверть двенадцатого, он выходил из трамвая на той же остановке и сворачивал на Круцембургскую улицу. Кто-то потом рассказывал, что все это время он просиживал в кафе и ругался с другими русскими. Говорили еще, что это не мог быть русский, потому что русские никогда не возвращаются домой так рано.

В прошлом году, в феврале, я уже дремал, как вдруг слышу за окном пять резких ударов. Сквозь сон мне показалось, будто я еще мальчишка и щелкаю на дворе бичом и радуюсь, что он так здорово хлопает. Потом я вдруг сразу проснулся и осознал, что это стрельба из револьвера. Подбегаю к окну, отворяю его и вижу — внизу, на тротуаре перед домом номер семь, лежит ничком мужчина с портфелем в руке. Тут послышался топот ног, из-за угла появился полицейский, подбежал к лежащему, приподнял его, но, пробормотав: «Эх, черт!» — снова опустил его на землю и засвистел. Из-за другого угла тотчас же показался второй полицейский и поспешил к первому.

Я, конечно, быстро сунул ноги в туфли, накинул пальто и устремился вниз. Из других домов выбежали вегетарианец, музыкант, один из ихтиологов, дворники и филателист. Остальные глядели из окон, стуча от страха зубами и думая. — «Ну его к черту, еще впутаетесь в историю». Тем временем полицейские перевернули человека навзничь.

— Ведь это тот русский, Копытенко или Коваленко, что живет у пани Янской, — говорю я дрожащим голосом. — Он мертв?

— Не знаю, — мрачно отвечает полицейский. — Надо вызвать врача.

— Н-н-неужели вы оставите его лежать здесь? — возмущенно спросил музыкант, заикаясь. — Отвезите его в больницу.

На улице собралось уже человек двенадцать, все тряслись от холода и страха, а полицейские, опустившись на колени рядом с пострадавшим, зачем-то расстегивали ему воротник. В это время на углу главной улицы остановилось такси, и шофер вышел посмотреть, что случилось. Наверное, думал, что это пьяный и можно заработать, отвезя его домой.

— В чем дело, братцы? — прительски спрашивает он нас.

— 3-3-застрелили человека, — стуча зубами, говорит вегетарианец. — П-п-положите его в машину и отвезите в «Скорую помощь», может, он еще жив.

— Вот чертовщина! — проворчал шофер. — Не очень-то я люблю такие истории. Ну, ладно, погодите, я сюда подъеду.

Он не торопясь пошел к своей машине и подогнал ее к мертвому.

— Кладите его в машину, — сказал он.

Двое полицейских подняли этого русского и с большим трудом погрузили в такси. Он, правда, был не тяжел, но ведь с мертвыми трудно управляться.

— Вы поезжайте с ним, коллега, а я запишу свидетелей, — сказал один полицейский другому. — Шофер, поезжайте в «Скорую помощь», да побыстрее.

— Побыстрее, — проворчал шофер. — А если у меня тормоза не в порядке?

И уехал.

Оставшийся полицейский вынул из кармана блокнот и говорит:

— Сообщите мне свои имена, господа. Это только для свидетельских показаний.

И записал нас одного за другим. Копался он страшно, видно, У него пальцы окоченели, и мы тоже замерзли как проклятые. Когда я вернулся в свою комнату, было двадцать пять минут Двенадцатого. Стало быть, все происшествие длилось десять минут.

Я знаю, вы скажете, что во всем этом нет ничего особенного. Но послушайте, пан Тауссиг, в такой тихой улице, как наша, это — великое событие. Соседние улицы греются в

лучах нашей славы, ибо могут сказать: «Это случилось здесь, за углом». Жители улиц, которые подальше от нас, прикидываются равнодушными, но это, если хотите знать, только по злобе и от зависти — ведь происшествие было не у них. А живущие еще дальше отмахиваются, говоря — «Кажется, там кого-то пристукнули, да черт его знает, так это или нет». Но это — лишь черная зависть

Представляете себе, как на другой день все жители нашей улицы накинулись на вечерние газеты? Во-первых, нам хотелось узнать что-нибудь новое о нашем убийстве. Во-вторых, все предвкушали удовольствие читать о происшествии на своей улице. Ведь известно, что люди всего охотнее читают в газетах о том, что они видели, как говорится, собственными глазами. Предположим, на Уезде свалилась лошадь, в результате чего движение было нарушено на десять минут. Если об этом не написано, очевидец сердится и швыряет газету на стол, дескать, там и читать-то нечего. Его почти оскорбляет, что эти журналисты не увидели ничего важного в происшествии, в котором он принял самое непосредственное участие. Я думаю, что отдел происшествий существует специально для таких очевидцев, чтобы они от обиды не перестали покупать газеты.

Мы были просто оскорблены, когда ни в одной из газет не нашли ни слова об убийстве. «Черт возьми, — ворчали мы, — расписывают тут всякие политические события, разные аферы и сообщают даже о том, что трамвай наскочил на ручную тележку, а о нашем убийстве — ни слова. До чего продажны эти газеты!»

Потом филателисту пришло в голову, что, наверное, полиция попросила газеты до окончания расследования не писать об убийстве. Это нас и успокоило, и еще больше взволновало. Мы гордились, что живем на такой улице и, несомненно, будем вызваны свидетелями по этому таинственному делу. Но и на второй день в газетах не было ничего об убийстве и никто из полиции не приходил произвести следствие, а самое удивительное — никто не явился к хозяйке убитого, чтобы осмотреть или опечатать его комнату.

Это уже задело за живое. Музыкант сказал, что, может, полиция хочет замять дело, — бог весть, кто в нем замешан.

Когда и на третий день газеты молчали об убийстве, вся улица начала возмущаться и твердить, что мы этого так не оставим, что в конце концов убитый был наш сосед и мы добьемся того, что все эти махинации будут разоблачены. Нашу улицу и без того явно третируют — у нас и мостовая никуда не годится, и освещение скверное, а небось живи здесь какой-нибудь парламентарий или газетчик, было бы совсем другое дело. Этакая порядочная улица, а за нее некому заступиться.

Короче говоря, возникло стихийное недовольство, и соседи обратились ко мне — как к пожилому, солидному человеку — и попросили пойти в участок и рассказать полицейскому комиссару о безобразном отношении к убийству.

Вот я и пошел к комиссару Бартошеку, которого немного знал. Это такой мрачный человек. Говорят, он все еще страдает из-за какой-то несчастной любви. Будто бы только с горя он и пошел служить в полицию.

— Пан комиссар, — говорю ему, — я пришел спросить у вас, как обстоит дело с убийством на Круцембургской улице? Нас удивляет, что это дело так упорно замалчивают.

— Какое убийство? — спрашивает комиссар. — Там не было никакого убийства. Я точно знаю, ведь это наш район.

— Ну, как же, а этот самый русский, Коваленко или Копытенко, которого застрелили на улице? — напоминаю я. — Там было двое полицейских, и один записал свидетелей, а другой отвез убитого в «Скорую помощь».

— Это невозможно, — объявил комиссар. — У нас никакого убийства не зарегистрировано. Наверное, это ошибка.

— Ах, пан комиссар, — говорю я, начиная сердиться, — очевидцами этого происшествия были по меньшей мере пятьдесят человек, и все могут подтвердить. Мы лояльные граждане, пан комиссар, и если надо держать язык за зубами, вы нам так и скажите. Но игнорировать убийство просто так, за здорово живешь — это никуда не годится.

Мы напишем в газеты.

— Пойдите! — говорит комиссар, сделав такое серьезное лицо, что мне даже страшно стало. — Расскажите, пожалуйста, все по порядку.

Я принялся рассказывать ему все по порядку, и он так заволновался, что прямо позеленел, но когда я дошел до того места, как один полицейский сказал другому: «Вы с ним поезжайте, коллега, а я запишу свидетелей», — он облегченно вздохнул и воскликнул:

— Господи, да ведь это были не наши люди! Мать честная, почему вы не вызвали полицейских против таких «полицейских»? Неужели вы не сообразили, что полицейские никогда не говорят друг другу «коллега»? Сыщик еще может так сказать, но полицейский — никогда! Эх вы, наивный шпак, вы, «коллега», почему вы не приняли мер для ареста этих людей?

— А за что же? — пробормотал я сокрушенно.

— За то, что они застрелили вашего соседа! — закричал комиссар. — Или, по крайней мере, были соучастниками убийства. Сколько лет вы живете на Круцембургской улице?

— Девять, — сказал я.

— Так вам следовало бы знать, что в одиннадцать часов пятнадцать минут вечера ближайший полицейский патруль находится около Крытого рынка. Еще один патруль в это время должен быть на углу Силезской и Перуновой улиц, а третий следует строевым шагом мимо дома с порядковым номером тысяча триста восемьдесят восемь. Из-за того угла, откуда выбежал ваш полицейский, наш полицейский может выбежать или в десять часов сорок восемь минут или только в двенадцать часов двадцать три минуты, и ни в какое другое время, потому что в другое время его там нет. Это же, черт возьми, знает каждый вор, а вот честные обыватели не имеют об этом представления! Вы, может, думаете, что мои полицейские торчат за каждым углом? Если бы в то время, о котором вы говорите, выбежал из-за вашего проклятого угла наш полицейский, это бы уже было чрезвычайное происшествие. Прежде всего, потому, что в одиннадцать часов пятнадцать минут он должен был, согласно приказу, шагать у Крытого рынка, а во-вторых, потому, что он нам своевременно не доложил об убийстве. Это был бы, разумеется, весьма серьезный проступок.

— Господи боже мой! — сказал я. — Так как же с убийством?

— Темное дело, — сказал комиссар, явно успокоившись, — это, пан Гоудек, очень неприятный случай. За всем этим кроется ловкий преступник и какая-то крупная афера. Все было хитроумно задумано: во-первых, они знали, в котором часу их жертва приходит домой, во-вторых, знали маршрут и время следования полицейских патрулей, в-третьих, им надо было, чтобы полиция, по крайней мере, два дня не знала об убийстве. Видимо, этот срок был им необходим, чтобы скрыться или замести следы. Теперь вы все понимаете?

— Не совсем, — говорю я.

— Дело было так, — терпеливо объяснял мне полицейский комиссар, — двое преступников оделись полицейскими и подстерегали этого русского за углом. Они застрелили его, или это сделал кто-то третий. Вы же, конечно, успокоились, видя, что наша образцовая полиция немедленно прибыла на место происшествия. Вспомните-ка, как звучал свисток того первого полицейского?

— Как-то глуховато, — сказал я. — Я думал, что это оттого, что он запыхался.

— Ага, — удовлетворенно заметил комиссар. — Короче говоря, они хотели устроить так, чтобы вы не сообщали об этом убийстве в полицию. Таким путем они выиграли время, чтобы скрыться за границу. Понимаете? Шофер тоже явно был из их шайки. Не помните номер машины?

— На номер мы, признаться, не обратили внимания, — смущенно сознался я.

— Не беда, все равно номер был фальшивый... Так что им удалось убрать и труп этого русского. Кстати, он был не русский, а какой-то македонец, и фамилия у него другая, Протасов. Ну, ладно, спасибо вам, сударь. А теперь действительно прошу вас в интересах следствия молчать обо всем этом. Безусловно, это — политическое убийство. Его

организатор, на-¹ верное, очень ловкий человек, потому что обычно, пан Гоудек, политические убийства совершаются из рук вон плохо. Там, где замешана политика, не жди даже порядочного преступления, там обычно бывает только грубая драка, — заметил комиссар с отвращением.

Позднее дело немного прояснилось. Причина убийства, правда, осталась неизвестной, но имена трех убийц полиция Узнала. Все трое к этому времени уже давно были за границей. Так вот и получилось, что у нашей улицы попросту украли Убийство Вроде как вырвали из ее истории славнейшую страницу. Когда к нам иногда забредает чужак, кто-нибудь с проспекта Фоша или из Вршовиц, то небось думает: «Что за скучная улица!» И никто не верит нам, когда мы говорим, что у нас произошло столь загадочное преступление Сами понимаете — другие улицы нам завидуют...

Случай с младенцем

— Уж коли речь зашла о комиссаре Бартошке, — заметил пан Кратохвил, — то мне припоминается один случай, который тоже не стал достоянием широкой публики; я имею в виду случай с младенцем. Так вот, значит, прибегает однажды к этому Бартошке в полицейский участок молодая особа, жена пана Ланды, советника из управления государственными именьями, — вся в слезах, едва переводит дыхание. Бартошек пожалел женщину, хотя от рыданий у нее распух нос и все лицо пошло пятнами. Принялся он ее успокаивать — насколько это в силах старого холостяка, да еще полицейского чиновника.

— Бросьте вы, ей-богу, — говорил Бартошек, — он же с вас головы не снимет, проспится, и все снова будет в порядке; ну, а если уж он и впрямь чересчур бедокурит, так я отправлю с вами пана Гохмана, он вlepит ему разок-другой и приведет в чувство; а уж вы, милочка, лучше не давайте мужу поводов для ревности, так-то!

Подобным образом — да будет вам известно — в полицейских отделениях улаживают большинство семейных трагедий.

Но дамочка только трясла головой и рыдала так, что страшно было смотреть.

— Ах, черт побери. — Пан Бартошек решил подобраться к делу с другого боку. — Значит, это он от вас сбежал, вот оно что! Послушайте, да ведь он вернется, паршивец несчастный; ну стоит ли этакий мерзавец того, чтобы вы по нем убивались!

— Па-а-н... комиссар, — пролепетала молодая женщина, — У меня... на улице... украли ребенка!

— Бог с вами, — недоверчиво проговорил комиссар. — Зачем жуликам понадобился ребенок? Наверно, убежал куда-нибудь...

— Нет, не убежал... Не могла она убежать! — безутешно рыдала мамаша. — Ведь Руженке всего три месяца!

— Ах, так, — протянул пан Бартошек, который не имел ни малейшего понятия о том, когда дети начинают ходить. — Каким же образом, позвольте узнать, они ее украли?

С трудом, после долгих клятвенных заверений, что ребенок найдется непременно, пану Бартошке удалось успокоить молодую мамашу и вытянуть из нее, как было дело.

Оказывается, дело было так: пан Ланда только что отбыл в командировку осматривать свои имения, а пани Ландова задумала вышить Руженке красивый нагрудничек. Отправилась она в галантерею выбрать шелк для этого самого нагрудничка, а коляску с Руженкой оставила на улице; когда же возвратилась — ни коляски, ни Руженки уже не было. Вот и все, что за добрых полчаса удалось понять из слов безутешной женщины.

— Стало быть, пани Ландова, — подытожил пан Бартошек, — в общем не так уж все плохо; вы посудите сами, кому придет в голову красть сосунка? Обычно младенцев подкидывают, в моей практике случалось нечто подобное. По-моему, такая кроха ничего не

стоит; в большинстве случаев ее невозможно

сбыть; а вот за колясочку кое-что дадут; и перинки — там ведь были перинки? — тоже можно продать. Уж ради них можно решиться на кражу. Я полагаю, кому-то понадобятся коляска и перинки. По-моему, тут замешана женщина, потому как верзила с колясочкой сразу обращает на себя внимание. А ребенка она где-нибудь да бросит, — успокаивал пан Бартошек мамашу, — ну скажите на милость, что ей с ним делать? Мне кажется, мы еще сегодня доставим вам вашу птаху, как только она найдется.

— А что, если моя Руженка проголодается? — горевала молоденькая мама, — ее уже давно пора кормить...

— Мы сами ее накормим, — пообещал комиссар, — а теперь идите-ка лучше домой.

И вызвал шпика в штатском, чтобы тот проводил несчастную женщину.

Во второй половине дня сам комиссар позвонил у дверей квартиры пани Ландовой.

— Ну вот, милая пани, — объявил он, — коляска уже нашлась. Теперь недостает лишь младенца. Пустую повозочку мы обнаружили под аркой одного дома, где и детей-то никаких нет. Правда, к дворничихе заходила одна женщина, позвольте, дескать, покормить грудного ребенка, гм-м... и сразу ушла... Черт побери, — заметил он, покачивая головой, — выходит, эта особа хотела похитить именно младенца, и ничего другого. Стало быть, голубушка, коли уж так он ей понадобился, похитительница ему не повредит и не проглотит; короче говоря, горевать вам не о чем — и все тут.

— Но я хочу получить свою Руженку обратно! — в отчаянии воскликнула пани Ландова.

— В таком случае, пани, предоставьте нам фотографию или описание вашего ребенка, — объявил комиссар официальным тоном.

— Ах, какой вы, пан комиссар, — расплакалась пани Ландова, — неужели вы не знаете, что детей до года нельзя фотографировать? Говорят, это дурная примета, ребенок потом расти не будет...

— Гм, — буркнул комиссар, — тогда, по крайней мере. Дайте нам его точное описание.

Описание мамаша сделала весьма пространное: такие, мол, у ее Руженки хорошенькие волосики, и носик, а глазки какие прекрасные! И весит она четыре килограмма четыреста девяносто граммов. И попка у нее такая розовая, а какие складочки на ножках!

— Какие такие складочки? — насторожился комиссар.

— Такие, что поцеловать хочется! — всхлипывала мамаша — И такие же сладенькие пальчики! А как она улыбалась маме, если бы вы только знали!

— Но помилуйте, голубушка, — взорвался пан Бартошек, — ведь по такому описанию мы не сможем ее опознать! Нет ли у нее особых примет?

— У нее розовые ленточки на чепчике, — рыдала молодая женщина. — Девочкам всегда пришивают розовые ленточки! Ради всех святых, разыщите мне мою Руженку!

— А какие у нее зубы? — попытался еще уточнить пан Бартошек.

— Никаких, ведь ей всего три месяца. Знали бы вы, как она улыбалась своей мамочке! — Пани Ландова упала на колени: — Пан комиссар, обещайте, что вы ее отыщете!

— Будем стараться, — проворчал пан Бартошек в смущении, — прошу вас, встаньте. Ну, посудите сами, зачем ей было ее красть? Можете вы мне объяснить, какой от него прок, от этого сосунка?

Измученная пани Ландова широко раскрыла глаза

— Но ведь прекраснее детей нет ничего на свете! Неужели у вас, пан комиссар, совсем нет материнских чувств?

Пан Бартошек не захотел признаться в этом своем недостатке и поспешно заметил-

— На мой взгляд, такого рода кражу могла совершить только мать, лишившаяся собственного ребенка и очень желавшая его иметь. Это, видите ли, как в трактире — если кто-нибудь по ошибке надел вашу шляпу, вы, уходя домой, выберете себе чью-нибудь чужую. Но тут я уже предпринял кое-какие шаги: приказал выяснить, где и у кого в Праге померла трехмесячная малютка, чтоб наши люди пошли туда и проверили. Но только по

вашему описанию, извините, мы опознать ее не сможем.

— Но я-то ее узнаю, — всхлипнула пани Ландова.

Пан комиссар пожал плечами.

— И все-таки, — произнес он задумчиво, — голову даю на отсечение, что баба это украла ребенка ради какой-то корысти. Кражи, дорогая моя, очень редко совершают из-за любви; обычно — из-за денег. Да не убивайтесь вы так, черт побери! Мы сделаем все, что от нас зависит.

Вернувшись в участок, пан Бартошек обратился к своим сослуживцам.

— Послушайте, нет ли у кого из вас трехмесячной козявки? Пришлите мне ее сюда!

Жена одного из полицейских принесла ему свою меньшенькую. Пан комиссар приказал развернуть ее и говорит:

— Э, да она вся мокрая! Ну что же — волосенки на голове есть, складочки — тоже... А это ведь нос, правда? И зубов тоже — ни одного... Объясните, голубушка, как же отличить одного младенца от другого?

Супруга полицейского, крепко прижала малютку к груди и гордо этак заявила:

— Да ведь это же моя Маничка! Разве вы не видите, пан комиссар, она же — вылитый папа?

Пан комиссар с сомнением покосился на полицейского Гохмана; ошетилив усы и надувая дряблые щеки, тот строил своему чаду гримасы, делал толстыми пальцами козуберезу и лаял собачкой: «Гаф-гаф-гаф!»

— Ну, не знаю, буркнул комиссар, — по-моему, и нос у нее совсем не такой, разве что вырастет... Пойду-ка я в парк, посмотрю, как выглядят сосунки. Что правда, то правда, всяких там жуликов и бродяг наш брат тотчас распознает, а вот этакую мелюзгу в перинках просто неизвестно, как и разыскивать.

Примерно через час Бартошек вернулся, вконец расстроенный.

— Послушайте, Гохман, — обратился он к своему подчиненному, — ведь это же кошмар какой-то, — все дети на одно лицо! Какое уж тут описание внешности! «Разыскивается трехмесячный младенец, полу женского, с волосиками, носиком, глазками, вся попка в ямочках, весит четыре тысячи четыреста девяносто граммов». Разве этого достаточно?

— Пан комиссар, я бы об этих граммах не упоминал, — серьезно посоветовал Гохман, — ведь он, этот несмышлениш, весит то больше, то меньше, — в зависимости от того, какой у него стул.

— Господи Иисусе, — взмолился пан комиссар, — ну откуда мне все это знать? Сосунки — это ведь не по нашему ведомству! Послушайте, — внезапно с надеждой произнес он, — а что, если взять да и спихнуть это кому-нибудь, скажем, «Охране матери и ребенка»?

— Но ведь кража налицо, — возразил Гохман.

— Конечно, кража налицо, — буркнул комиссар — Господи, украли бы часы или другую какую полезную вещь — тут я бы знал, что делать; но как разыскивают украденных детей — я понятия не имею, ей-богу!

В это мгновение отворились двери, и один из полицейских ввел плачущую пани Ландову.

— Пан комиссар, — отрапортовал он, эта дамочка пыталась вырвать младенца из рук другой мамы, и при том учинила безобразный скандал, чуть ли не драку. Я ее и забрал.

— Бога ради, пани Ландова, — принялся увещевать нарушительницу Бартошек, — что вы с нами делаете?!

— Но ведь это была моя Руженка! — рыдала молодая женщина

— Никакая не Руженка! — парировал полицейский. — Фамилия этой женщины — Роубалова, живет в Будечской улице, а на руках у нее был трехмесячный мальчик.

— Вот видите, неразумная вы женщина! — вскипел пан Бартошек — Если вы еще раз впутаетесь не в свое дело, мы перестанем им заниматься, понятно?! Погодите-ка! — вспомнил он вдруг. — А на какое имя откликается ваша дочка?

— Мы называли ее Руженка, — простила молодая мамаша. — А еще Крошечка, Лапонька, пупсик, золотце, ангелочек, манюнечка, Кутичка, Лялечка, куколка, зайныка, кисонька, голубушка, солнышко.

— И на все на это она откликается? — поразился комиссар-

— Она все-все понимает! — уверяла мамаша, заливаясь слезами. — И так смеется, когда мы показываем козу-дерезу, лаем собачкой, лопочем «ти-ти-ти», «бу-бу-бу» или щекочем.

— Нам от этого не легче, пани Ландова К сожалению, я вынужден признаться, что у нас ничего не вышло. В семьях, которые заявили о смерти ребенка, вашей Руженки не обнаружено; мои люди уже всех обежали.

Пани Ландова застывшим взглядом тупо смотрела перед собой.

— Пан комиссар, — выпалила она, внезапно озаряясь надеждой, — я десять тысяч дам тому, кто мне отыщет Руженку. Объявите повсюду, что награду десять тысяч получит тот, кто наведет вас на след моей девочки.

— Я бы вам не советовал этого делать, милая пани, — с сомнением проговорил пан Бартошек

— Вы бесчувственный человек! — горестно воскликнула молодая женщина. — Да за свою Руженку я готова весь свет отдать!

— Ну, вам виднее, мрачно проворчал пан Бартошек. — Объявить я объявлю, только вы уж, бога ради, в это дело больше не вмешивайтесь!

— Тяжелый случай, — вздохнул он, едва за пани Ландовой захлопнулась дверь. — Вот посмотрите, что теперь начнется!

И в самом деле началось: на следующий день три сыскных агента принесли ему по зарезанной трехмесячной девчущке каждый, а один — небезызвестный Пиштора — просунул голову в кабинет и осклабился: «Пан комиссар, а парнишка не подойдет? Парнишку у достал бы по дешевке».

— А все эта ваша дурацкая премия, — чертыхался пан Бартошек. — Еще немного — и нам придется открыть сиротский дом. Вот проклятие!

«Вот проклятие! — раздраженно ворчал он, возвращаясь в свою холостяцкую квартиру. — Хотелось бы мне знать, как теперь мы разыщем этого карапуза!»

Дома его встретила прислуга, этакая языкастая бой-баба, но сегодня она прямо так и сияла от удовольствия.

— Вы только подите посмотрите, пан комиссар, — произнесла она вместо приветствия, — на вашу Барину!

А Бариной, да будет вам известно, звали чистокровную боксершу, согрешившую с каким-то немецким волкодавом, — пан Бартошек получил ее от пана Юстица. К слову сказать, я просто диву даюсь, как эти собаки вообще признают друг друга, хоть убей, не могу понять, по каким признакам борзая определяет, что такса — тоже собака Мы, люди, отличаемся лишь языком да верой, а готовы проглотить друг друга Ну вот, значит. Барина эта прижила с немецким волкодавом девятых щенят, и теперь, развалясь подле них, вертела хвостом и блаженно улыбалась

— Вы только подумайте, — без умолку трещала служанка, — как она ими гордится, как она ими хвастает, стерва! Оно и понятно — мамаша.

Пан Бартошек задумался и спрашивает

— Мамаша, говорите? И что же, все матери так себя ведут?

— Еще бы! — громко удивилась служанка — Попробуйте похвалите при какой-никакой маме ее ребенка!

— Любопытно! — буркнул пан Бартошек — Погодите, я попробую

Дня через два все мамы Большой Праги были прямо вне себя от восторга Стоило им выйти на улицу с колясочкой или с младенцем на руках, как возле них появлялся полицейский в полном параде либо этаким, знаете ли, обходительный господин в черном котелке, он улыбался их восхитительной деточке и щекотал ее под подбородочком

— Какое замечательное дите! — восхищался он — Сколько же ему?

Словом, для всех мамаш это был самый настоящий радостный праздник

И уже в одиннадцать утра один из агентов привел к комиссару Бартошеку бледную, дрожащую женщину

— Это она, пан комиссар, — доложил он Бартошеку, — я встретил ее когда она прогуливалась с колясочкой, но стоило мне произнести «Ай-яй-яй, какое у вас замечательное дите, сколько же ему?» — эта женщина зло стрельнула на меня взглядом и задержала занавесочки Ну вот я и предложил ей, пойдем, дескать, со мной, только без шума!

— Бегите за пани Ландовой, — приказал комиссар — А вы, мамзель, объясните, Христа ради, на кой ляд вам понадобился краденый ребенок?

Мамзель недолго отпиралась, ибо тут же запуталась. Это была незамужняя девица, и от какого то господина родила она девочку. Последние два дня девочка что-то недомогала. У нее болел животик, две ночи подряд она кричала. На третью ночь мать взяла ее к себе, дала грудь да и уснула, а когда проснулась ребенок уже лежал мертвый Право, не знаю, возможно ли это, — заметил пан Кратохвил с некоторым сомнением

— Почему же нет, — вмешался в разговор доктор Витасек — Во-первых, мать два дня почти не спала, во вторых, Ребенок, скорее всего, перенес катар и несколько дней не брал

грудь. От этого грудь была слишком тяжелой; мать задремала и придавила девочку, вот она и задохнулась. Разумеется, так вполне могло получиться. Ну а дальше что?

— Ну, значит, так оно и было, — продолжал прерванный рассказ пан Кратохвил. — Когда эта женщина увидела, что ребенок мертв, она пошла об этом заявить в церковь, да по дороге увидела колясочку пани Ландовой и передумала: ей пришло в голову, что и за чужое дите этот господин будет платить ей алименты, как и прежде. А еще, говорят, — добавил пан Кратохвил, смутившись, и густо покраснел, — у нее страшно болела грудь от избытка молока.

Пан Витасек кивнул, подтверждая.

— Это тоже верно.

— Знаете ли, — оправдывался пан Кратохвил, я в таких делах не разбираюсь. Так вот, украла она колясочку пани Ландовой, бросила ее в подъезде чужого дома, а Руженку отнесла к себе вместо своей Зденочки. По-видимому, странная это была женщина, с заскоком: свою мертвую дочку она положила в холодильник, ночью, дескать, отнесу и закопаю где-нибудь, — но духу у нее на это не достало.

Между тем явилась пани Ландова.

— Ну мамаша, — говорит ей пан Бартошек, — получайте свою манюнечку.

У пани Ландовой из глаз брызнули слезы.

— Да это же не Руженка! — разрыдалась она. — На Руженке был другой чепчик!

— Черт побери! — взревел комиссар. — Да распакуйте же вы ее!

И когда младенца развязали, положив на письменный стол, пан Бартошек поднял его за ножки и обронил:

— А теперь полюбуйте, какие у нее на попке ямочки!

Но пани Ландова уже упала на колени и облизывала малышку с головы до пят.

— Ах ты, моя Руженочка, — плача, восклицала она, — ах ты, моя птичка, манюнечка, крошечка, мамина доченька, золотце ты мое...

— Пожалуйста, пани Ландова, — попросил ее недовольный этой сценой пан Бартошек, — перестаньте сейчас же, либо я, ей-ей, сам оженюсь. А обещанные десять тысяч отдайте в фонд помощи одиноким матерям, договорились?

— Пан комиссар, — восторженно обратилась к нему пани Ландова. — Подержите немножко Руженку и благословите ее!

— А без этого — нельзя? — ворчал пан Бартошек. — Да как их берут-то? Ах, так. Но

смотрите, она вот-вот расплатится. Натек-ка, забирайте ее поскорее!

Тем и закончился случай с младенцем.

Графиня

— Шальные эти бабы, — заговорил пан Полгар, — такие они иногда выкидывают фортели, просто диву даешься. История, которой я хочу вас позабавить, произошла в девятнадцатом или в двадцатом году, короче, в то время, когда наша благословенная Центральная Европа казалась пороховым погребом, когда все только и ждали — в какой еще стороне заварится каша. Шпионы у нас в те годы кишмя кишели — сейчас это и представить себе невозможно. Я занимался тогда контрабандистами и фальшивомонетчиками, но военные власти нередко просили меня снабдить и их кое-какой информацией. Вот тогда-то и произошел этот случай с графиней... ну, скажем. Мигали.

Не помню уж, когда и каким путем, но только военные получили анонимное письмо, в котором автор обращал их внимание на корреспонденцию, поступавшую в адрес В. Манесса, Цюрих, до востребования. Потом они перехватили одно из подозрительных писем; вообразите себе, это была шифровка под кодом № 11, и в ней сообщалось, что двадцать восьмой пехотный полк входит в состав пражского гарнизона, что в Миловицах — полигон и что наша армия вооружена не только ружьями, но и штыками, и тому подобные глупости. Но военные, знаете ли, в таких случаях — страшные педанты; если вы, к примеру, сообщили иностранным державам, что портянки наших пехотинцев сделаны из колена фирмы «Оберлендер», то предстанете за это перед дивизионным судом и схлопочете, по крайней мере, год заключения за государственную измену и шпионаж. И ничего не попишешь — на этом зиждется престиж военных властей.

Так вот, стало быть, показали мне военные чины зашифрованное письмо и анонимный донос. Видите ли, графолог я никудышный, но тут с первого взгляда было ясно, что-либо оба письма нацарапаны одной и той же рукой, либо я спятил. Хотя анонимка начертана карандашом — кстати, большинство анонимных писем пишут карандашом, — но тут прямо бросалось в глаза, что у шпиона и автора анонимки — явно одна и та же рука.

— Мой вам совет, — сказал я чинам, — не придавайте этому значения; не стоит овчинка выделки; этот агент просто какой-то любитель, дилетант, все его военные тайны каждый легко может вычитать в «Политичке».

Ну ладно. Прошло что-то около месяца, и заявляется ко мне один капитан из контрразведки, стройный такой, красивый паренек

— Пан Полгар, — говорит он, — чудная со мной произошла история. Недавно я танцевал с одной обворожительной смуглянкой Она графиня, по-чешски — ни слова, но танцует — восторг! А нынче я получил от нее трогательную записку. Как-то все-таки странно это...

— Радоваться тут надо, юноша, — говорю я ему, — «счастье в любви» — вот что это такое.

— Оно, конечно, пан Полгар, — сокрушенно отвечает мне капитан, — да только записка написана тем же почерком, теми же чернилами и на той же бумаге, что и шпионские донесения в Цюрих! Просто ума не приложу, что делать, представляете, каково мужчине выдать женщину, которая... гм, которая всей душой... и вообще... она дама, пан Полгар, — вырвалось у него в волнении.

— Что поделаешь, капитан, — говорю я ему, — рыцарские чувства тут ни при чем. Ваш долг — велеть арестовать эту женщину и — сообразно с важностью преступления — приговорить к смертной казни; а на вашу долю выпадает честь приказать дюжине стрелков:

«Пли!» Жизнь — известное дело — полна романтики. Вот только, к сожалению, есть тут одна загвоздочка: никакого В. Манесса в Цюрихе не существует, потому как на цюрихской почте скопилось уже четырнадцать зашифрованных донесений, а его все нет как нет. Бросьте вы свои подозрения и отправляйтесь плясать с этой смуглой графиней, пока молоды!

Три дня капитан мучился угрызениями совести, аж осунулся весь, а потом все-таки доложил о случившемся по начальству. Ну, понятно, шестеро военных в машине помчались арестовать графиню Мигали и изъять ее обширную переписку с иностранными агентами. У нее был обнаружен код и всевозможные опасные, так сказать, бумаги изменнического содержания. При этом графиня отказывалась давать какие-либо показания, а ее сестра, шестнадцатилетняя девчонка, уселась на стул, поджав колени под подбородком, так что все можно было лицезреть, курила сигареты, флиртowała с офицерами и хохотала как дурочка.

Прослышав, что Мигали сидит в тюрьме, я помчался к военному начальству и говорю:

— Отпустите вы, Христа ради, эту истеричку, иначе сраму не оберетесь.

А они мне:

— Пан Полгар, графиня Мигали призналась, что была завербована иностранной разведкой, а это дело серьезное.

— Да эта женщина водит вас за нос! — кричу я им.

— Пан Полгар, — строго выговаривает мне полковник, — не забывайте, что говорите о даме; графиня Мигали лгать не может.

Вот до чего эта баба окрутила солдат!

— Тысяча чертей! — орал я. — Значит, галантности ради вы отправите ее под суд? Да пошли вы к дьяволу вместе с вашими рыцарскими чувствами! Неужели вы не видите, что эта дурочка сама и нарочно навела вас на след своей изменнической деятельности?! Да ведь она, негодница, обвела вас вокруг пальца, не верьте вы ни одному ее слову!

Но начальники делали трагические мины и только пожимали плечами

Само собой, о случившемся кричали все газеты, — и у нас и за границей; аристократия со всего света была на коне и собирала выражения протеста, дипломаты предпринимали различные демарши, общественное мнение даже в далекой Англии было возмущено, но справедливость — как известно — неумолима. Словом, благородная графиня — в виду военного положения — предстала перед трибуналом.

Снова пошел я к военным чинам — на сей раз уже вооружась собственной информацией — и предложил:

— Выдайте ее мне, я сам ее накажу.

Какое! Они и слышать ни о чем не хотели. Надо признаться, суд они устроили — просто красота!

Я сидел в зале, заплаканный, как на «Даме с камелиями». Графинечка, тоненькая, словно стрела, и смуглая, что твой бедуин, признала свою вину.

— Я горжусь тем, — произнесла она, — что смогла быть полезной врагам этой страны.

Судьи чуть не разрыдались, желая и благородными быть, и долг соблюсти; но что подделаешь, изменнические письма и прочие глупости были налицо, и все же суд принимая во внимание исключительные обстоятельства, облегчающие и отягчающие вину, — не мог не приговорить графиню Мигали к году тюремного заключения.

Такого роскошного суда, повторяю, я отродясь не видывал. После вынесения приговора графиня встала и ясным голосом произнесла:

— Господин председатель, я считаю своим долгом заявить, что в ходе следствия и во время предварительного ареста все без исключения чехословацкие офицеры по отношению ко мне держали себя как истинные джентльмены.

В этом месте я от избытка чувств развеялся чуть ли не в голос.

А теперь войдите в мое положение: когда знаешь о человеке всю подноготную, то у тебя так и чешется язык рассказать об этом, просто нет никакого удержу. По-моему, люди говорят правду не по злему умыслу и не по глупости, а вынуждаемые обстоятельствами или неодолимым правдолюбием. Так представьте себе, эта Мигали где-то в Вене познакомилась

с небезызвестным майором Вестерманном и влюбилась в него. Вы, конечно, знаете, кто такой Вестерманн: удалец, сделавший геройство ремеслом; ордена на нем так и бренчат: Мария Терезия, Леопольд, Железный крест, турецкие звезды с бриллиантами и бог знает что еще... все это он нахватал во время войны; Вестерманн — главарь всевозможных противозаконных организаций, заговоров, путчей, покуда речь идет о монархистах. Вот в этого-то героя втюрилась наша графиня и, дабы стать его достойной, решила принять терновый венец великомученицы: словом, ради роковой этой страсти она прикинулась шпионкой и сама себя выдала. На такие штучки способны только женщины.

После процесса отправился я в тюрьму, где она сидела, и велел ее позвать.

— Мадам, — говорю, — это же ведь скука смертная, целый год сидеть в тюрьме; оно неплохо бы подать апелляцию, если вы изволите признаться, как взаправду обстояло дело с этим вашим, так сказать, шпионажем.

— Мне больше не в чем признаваться, сударь, — ответствовала графиня ледяным голосом.

— Ах ты, господи боже, — буркнул я, — да выбросьте вы из головы ваши глупости; ведь майор Вестерманн пятнадцать лет как женат, у него трое детей!

Графинечка сделалась серой, словно пепел; мне не приходилось еще видеть, чтобы женщина так подурнела прямо на глазах.

— А какое это имеет ко мне отношение...

— Вам, вероятно, полезно узнать, — раскричался я, — что этот ваш майор Вестерманн, собственно, не кто иной, как Вацлав Малек, пекарь из Простейова, понятно? Взгляните-ка на старую его фотографию; ну, узнаете? Христа ради, графиня, неужто из-за такого проходимца вы пошли под суд?!

Графиня сидела словно оцепенев, и я вдруг увидел, что передо мной — старая дева, утратившая последние иллюзии. Мне стало жаль ее и неловко за себя.

— Мадам, — торопливо как-то проговорил я, — значит, договорились; я пришлю сюда вашего адвоката, и вы ему сообщите...

Графиня Мигали выпрямилась, бледная, натянутая как тетива.

— Нет, — выдохнула она, — в этом нет надобности; мне нечего прибавить к моим показаниям.

И удалилась. А за дверью упала; нам пришлось разжимать ей пальцы — так их свело судорогой.

Я с досады кусал губы. Ну, все обнаружилось, — утешал я себя, — правда победила. Но, черт возьми, что же такое правда? Ведь все эти разоблачения и обманы, все эти мучительные истины, разрушенные иллюзии и горький опыт — это ведь лишь частица правды; а правда — она больше; правда заключается в том, что любовь — великое чувство, безумие, гордыня, страсть, тщеславие, а любая жертва — подвиг, и любящий человек величествен в своем чувстве. Вот в чем состоит другая и самая значительная доля правды; но нужно быть поэтом, чтоб уметь увидеть и выразить это.

— Совершенно справедливо, — заметил полицейский Горалек, — все зависит от того, как эту правду преподнести. В прошлом году забрали мы одного растратчика и повели взять оттиски пальцев; а парень — шмыг, выскочил из окна второго этажа — и припустился бежать.

Наш дактилоскопист хотя и пожилой, а туда же, — хоп! — выскочил за ним следом и сломал себе ногу.

Нас это вывело из себя — как всегда, когда наших обижают; изловили мы этого парня — ну и пощипали маленько

Потом был суд, и нас призвали в качестве свидетелей; вот адвокат этого парня — обходительный да гладенький такой, словно пузырек с ядом, — и спрашивает-

— Господа, если вам неприятно — можете не отвечать на мои вопросы. Но после того, как мой клиент попытался бежать, вы ведь его избили, не правда ли?

— Пустое, — отвечаю я, — мы только проверили, не повредил ли он себе что-нибудь,

выскакивая со второго этажа, а убедившись, что повреждений нет, попытались ему внушить, что этак не поступают.

— Внушали, видимо, основательно, — заметил адвокат с тонкой усмешечкой. — Полицейский врач установил, что в результате этого внушения у моего клиента переломлены три ребра, а сам он весь в синяках, особенно спина.

— Значит, он слишком близко к сердцу принял наше внушение, — парировал я, пожав плечами.

На том и кончили. Знаете ли, правда правдой, но нужно найти для нее и подходящее слово.

История дирижера Калины

— Кровоподтек или ушиб иногда болезненнее перелома, — сказал Добеш, — особенно если удар пришелся по кости. Уж я-то знаю, я старый футболист, у меня и ребро было сломано, и ключица, и палец на ноге. Нынче не играют с такой страстью, как в мое время. В прошлом году вышел я раз на поле; решили мы, старики, показать молодежи, как раньше играли. Стал я за бека, как пятнадцать — двадцать лет назад. И вот, как раз, когда я с лету брал мяч, мой же собственный голкипер двинул меня ногой в крестец, или иначе *cauda equina*. В пылу игры я только выругался и забыл об этом. Но ночью началась боль! К утру я не мог пошевелиться. Такая боль, что рукой двинешь — больно, чихнешь — больно. Замечательно, как в человеческом теле все связано одно с другим. Лежу я на спине, словно дохлый жук, даже на бок повернуться, даже пальцем ноги пошевелить не могу. Только охаю да крихчу, так больно.

Пролежал я целый день и целую ночь, не сомкнул глаз ни на минуту. Удивительно, как бесконечно тянутся минуты, когда не можешь сделать никакого движения. Представляю себе, как мучительно лежать засыпанным под землей. Чтобы убить время, я складывал и умножал про себя, молился, вспоминал какие-то стихи. А ночь все не проходила.

Был, наверно, второй час утра, как вдруг я слышу, что кто-то со всех ног мчится по улице. А за ним вдогонку человек шесть, и слышны крики: «я тебе задам», «я тебе покажу», «ишь сволочь ты этакая», «паршивец» и тому подобное. Как раз под моими окнами они его догнали, и началась потасовка — слышно, как бьют ногами, лупят по физиономии, кричат, хрипят... Слышны глухие удары, словно бьют палкой по голове. И никаких криков. Черт возьми, это никуда не годится, — шестеро колотят одного, словно это мешок с сеном. Хотел я встать и крикнуть им, что это свинство. Но тут же взревел от боли. Не могу двинуться! Ужасная вещь бессилие! Я скрежетал зубами и мычал от злости. Вдруг что-то во мне хрустнуло, я вскочил с кровати, схватил палку и помчался вниз по лестнице. Выбежал на улицу — ничего не вижу. Наткнулся на какого-то парня и давай его дубасить палкой. Остальные разбежались, и я лупцую этого балбеса, ах, как лупцую, никого в жизни так не бил. Только потом я заметил, что у меня от боли текут слезы. По лестнице я взбирался не меньше часа, пока попал в постель, но зато утром мог не только двигаться, но и ходить... Просто чудо...

— Хотел бы я знать, — задумчиво добавил Добеш, — кого я дубасил? Кого-нибудь из той шестерки или того, за кем они гнались? Во всяком случае, один на один — это честная драка.

— Да, беспомощность — страшная вещь, — согласился дирижер и композитор Калина, качая головой. — Я однажды это испытал. Дело было в Ливерпуле, меня туда пригласили дирижировать оркестром. Английского языка я совершенно не знаю, но мы, музыканты, всегда понимаем друг друга, особенно, когда на помощь приходит дирижерская палочка. Постучишь по пульту, крикнешь что-нибудь, повращаешь глазами, взмахнешь рукой, значит начать все сначала... Таким способом удастся выразить даже самые тонкие нюансы: например, покажу вот так руками, и всякий понимает, что это мистический взлет души, избавление ее от всех тягот и житейской скорби...

Так вот, приехал я в Ливерпуль. Меня уже ждали на вокзале и отвезли в гостиницу отдохнуть. Я принял ванну, пошел осмотреть город и... заблудился.

Когда мне случается попасть в новый город, я прежде всего иду к реке. С берега обычно видна, так сказать, оркестровка города. С одной стороны, уличный шум — барабаны и литавры, трубы, горны и медь, а с другой — река, то есть струнная группа, пианиссимо скрипок и арф. И вы слышите всю симфонию города. Но в Ливерпуле река — не знаю, как она называется, — бурая, неприглядная, и на ней шум, грохот, треск, звонки, гудки, всюду пароходы, пакетботы, баржи, склады, верфи, краны. Я очень люблю всякие корабли, и толстопузые смолистые барки, и красные грузовые суда, и белоснежные океанские пароходы. «Океан, наверно, где-нибудь тут за углом», — сказал я себе и, решив, что надо на него посмотреть, зашагал вниз по реке. Иду час, иду два — вижу только склады и доки, изредка корабли, то высокие, как собор, то с тремя толстыми скошенными дымовыми трубами. Всюду пахнет рыбой, конским потом, джутом, ромом, пшеницей, углем и железом... Вы заметили, что, когда много железа, оно издает ясно ощутимый своеобразный запах?

Я брел словно во сне. Но вот стемнело, настала ночь, и я оказался один на каком-то песчаном берегу. Напротив светил маяк, вдали двигались огоньки — должно быть, там и был океан. Я сел на груду досок, охваченный сладким чувством одиночества и затерянности. Долго я слушал шелест прибоя и вздохи океана и чуть не заскулил от грусти.

Потом подошла какая-то парочка, мужчина и женщина, и, не заметив меня, уселась ко мне спиной я тихо заговорила. Понимай я по-английски, я бы, конечно, кашлянул, чтобы они знали, что их слышат. Но так как я на их языке знал только слово «отель» и «шиллинг», то остался сидеть молча.

Сперва они говорили очень staccato. Потом мужчина начал тихо и медленно что-то объяснять, словно нехотя и с трудом. И вдруг сорвался и сразу все выложил. Женщина вскрикнула от ужаса и возмущенно затараторила. Но он сжал ей руку так, что она застонала, и стал сквозь зубы ее уговаривать. Это не был любовный разговор, для музыканта в этом не могло быть сомнения. Любовные темы имеют совсем другой каданс и не звучат столь сдавленно. Любовный разговор — это альтовая скрипка. А здесь был почти контрабас, игравший presto rubato, в одном тоне, словно мужчина все время повторял одну и ту же фразу. Мне стало не по себе этот человек говорил что-то дурное. Женщина начала тихо плакать и несколько раз протестующе вскрикнула, словно сопротивляясь ему. Голос у нее был похож на кларнет, чуть-чуть глуховатый, видимо, она была не очень молода. Потом мужской голос заговорил резче, словно приказывая или угрожая. Женщина начала с отчаянием умолять, заикаясь от страха, как человек, которому наложили ледяной компресс. Слышно было, как у нее стучали зубы. Мужчина ворчал низким голосом, почти любовно, в басовом ключе. Женский плач перешел в отрывистое и покорное всхлипывание. Я понял, что сопротивление сломлено. Потом влюбленный бас зазвучал снова, теперь выше и отрывистей. Обдуманно, категорически он произносил фразу за фразой. Женщина лишь беспомощно всхлипывала или охала, но это было уже не сопротивление, а безумный страх, не перед собеседником, а перед чем-то ужасным, что предстоит в будущем. Мужчина снова понизил голос и начал что-то успокоительно гудеть, но в его толе чувствовались угрожающие интонации. Рыдания женщины перешли в покорные вздохи. Ледяным шепотом мужчина задал несколько вопросов. Ответом на них, видимо, был кивок головы, так как он больше ни на чем не настаивал.

Они встали и разошлись в разные стороны.

Я не верю в предчувствия, но верю в музыку. Слушая этот ночной разговор, я был совершенно убежден, что контрабас склонял кларнет к чему-то преступному. Я знал, что кларнет вернется домой и безвольно сделает все, что велел бас. Я все это слышал, а слышать — это больше, чем понимать слова. Я знал, что готовится преступление, и даже знал какое. Это было понятно из того, что слышалось в обоих голосах, это было в их тембре, в кадансе, в ритме, в паузах, в цезурах... Музыка — точная вещь, точнее речи! Кларнет был слишком

примитивен, чтобы совершить что-нибудь самому. Он будет лишь помогать: даст ключ или откроет дверь. Тот грубый, низкий бас совершит задуманное, а кларнет будет в это время задыхаться от ужаса. Не сомневаясь, что готовится злодеяние, я поспешил в город. Надо что-то предпринять, надо помешать этому! Ужасная вещь — сознавать, что ты запаздываешь, когда творится такое.

Наконец я увидел на углу полисмена. Запыхавшись, подбегаю к нему.

— Мистер, — кричу я, — здесь, в городе, замышляется убийство!

Полисмен пожал плечами и произнес что-то непонятное. «О господи, — вспомнил я, — ведь он меня не понимает».

— Убийство! — кричу я ему, словно глухому. — Понимаете? Хотят убить какую-то одинокую леди. Ее служанка или экономка — сообщница убийцы. Черт побери, сделайте же что-нибудь!

Полисмен только покачал головой и сказал по-английски что-то вроде «да, да».

— Мистер, — твердил я возмущенно, содрогаясь от бешенства и страха, — эта несчастная женщина откроет дверь своему любовнику, головой за это ручаюсь. Надо действовать, надо найти ее!

Тут я сообразил, что даже не знаю, как она выглядит. А если бы и знал, то не сумел бы объяснить.

— О господи! — воскликнул я. — Но ведь это невысказано — ничего не сделать!

Полисмен внимательно глядел на меня и, казалось, хотел успокоить. Я схватился за голову.

— Глупец! — воскликнул я в отчаянии. — Ну, так я сам ее найду!

Конечно, это было нелепо, но, зная, что дело идет о человеческой жизни, я не мог сидеть сложа руки. Всю ночь я бегал по Ливерпулю в поисках дома, в который лезет грабитель. Станный город, мертвый и жуткий ночью... К утру я сидел на обочине тротуара и стонал от усталости. Полисмен нашел меня там и отвел в гостиницу.

Не помню, как я дирижировал в то утро на репетиции. Но, наконец, отшвырнул палочку и выбежал на улицу. Мальчишки продавали вечерние газеты. Я купил одну и увидел крупный заголовок: Murder, а под ним фотографию седовласой леди. По-моему, «Murder» значит по-английски «Убийство»...

Смерть барона Гандары

— Ну, сыщики в Ливерпуле, наверное, сцапали этого убийцу, — заметил Меншик. — Ведь это был профессионал, а их обычно ловят. Полиция в таких случаях просто забирает всех известных ей рецидивистов и требует с каждого: а ну-ка, докажи свое алиби. Если алиби нет, стало быть, ты и есть преступник. Позиция не любит иметь дело с неизвестными величинами преступного мира, она, если можно так выразиться, стремится привести их к общему знаменателю. Когда человек попадает в ее руки, она его сфотографирует, измерит, снимет отпечатки пальцев, и, готово дело, он уже на примете. С той поры сыщики с доверием обращаются к нему, как только что-нибудь стрясется, приходят по старой памяти, как вы заходите к своему парикмахеру или в табачную лавочку. Хуже, если преступление совершил новичок или любитель вроде вас или меня. Тогда полицейским труднее его сцапать.

У меня в полиции есть один родственник, дядя моей жены, следователь по уголовным делам Питр. Так вот, этот дядюшка Питр утверждает, что грабеж — обычно дело рук профессионала, в убийстве же скорее всего бывает повинен кто-нибудь из родных. У него, знаете ли, на этот счет очень устойчивые взгляды. Он, например, утверждает, что убийца редко бывает незнаком с убитым; мол, убить постороннего не так-то просто. Среди знакомых легче найдется повод для убийства, а в семье и подавно. Когда дядюшке поручают расследовать убийство, он обычно прикидывает, для кого оно всего легче, и берется прямо за такого человека. «Знаешь, Меншик, — говаривал он, — воображения и сообразительности у

меня ни на грош, у нас в полиции всякий скажет, что Питр — отъявленный тупица. Я, понимаешь ли, так же недалек, как и убийца; все, что я способен придумать, так же тупо, обыденно и заурядно, как его побуждения, замыслы и поступки».

Не знаю, помнит ли кто из вас дело об убийстве иностранца, барона Гандары. Этаким загадочный авантюрист, красивый, как Люцифер, смуглый, волосы цвета вороньего крыла. Жил он в особняке у Гребовки. Что иной раз там творилось, описать невозможно! И вот однажды, на рассвете, в этом особняке хлопнули два револьверных выстрела, послышался какой-то шум, а потом барона нашли в саду мертвым. Бумажник его исчез, но никаких следов преступник не оставил. В общем, крайне загадочный случай. Поручили его моему дяде, Питру, который в это время как раз не был занят. Начальник ему сказал как бы между прочим:

— Это дело не в вашем обычном стиле, коллега, но вы постарайтесь доказать, что вам еще рано на пенсию...

Дядя Питр пробормотал, что постарается, и отправился на место преступления. Там он, разумеется, ничего не обнаружил, выругал сыщиков, пошел обратно на службу, сел за стол и закурил сигарету. Тот, кто увидел бы его в облаках вонючего дыма, решил бы, конечно, что он сосредоточенно обдумывает порученное ему дело. И непременно ошибся бы: дядюшка Питр никогда ничего не обдумывал, потому что принципиально отвергал всякие размышления. «Убийца тоже не размышляет, — говорил он. — Ему или взбредет в голову, или не взбредет».

Остальные полицейские следователи жалели дядюшку Питра. «Не для него это дело, — говорили они, — жаль, пропадает такой интересный случай. Питр может раскрыть убийство старушки, которую пристукнул племянник, или прислуги, погибшей от руки своего кавалера».

Один коллега, полицейский комиссар Мейзлик, заглянул к дядюшке Питру словно бы ненароком, сел на краешек стола и говорит:

— Так как, господин следователь, что нового с этим Гандарой?

— Вероятно, у него был племянник, — заметил дядюшка Питр.

— Господин следователь, — сказал Мейзлик, желая помочь ему. — Это совсем не тот случай. Я вам скажу, в чем тут дело. Барон Гандара был крупный международный шпион. Кто знает, чьи интересы замешаны в этом деле... У меня из головы не выходит его бумажник. На вашем месте я постарался бы выяснить...

Дядюшка Питр покачал головой.

— У каждого свои методы, коллега, — сказал он. — По-моему, прежде всего надо выяснить, не было ли у убитого родственников, которые могут рассчитывать на наследство...

— Во-вторых, — продолжал Мейзлик, — нам известно, что барон Гандара был азартный карточный игрок. Вы, господин советник, не бываете в обществе, играете только в домино у Меншика, у вас нет знакомых, сведущих в таких делах. Если вам угодно, я наведу справки, кто играл с Гандарой в последние дни... Понимаете, здесь мог иметь место так называемый долг чести...

Дядюшка Питр поморщился.

— Все это не для меня, — сказал он. — Я никогда не работал в высшем свете и на старости лет не стану с ним связываться. Не говорите мне о долге чести, таких случаев в моей практике не было. Если это не убийство по семейным обстоятельствам, так, стало быть, убийство с целью грабежа, а его мог совершить только кто-нибудь из домашних, так всегда бывает. Может быть, у кухарки есть племянник...

— А может быть, убийца — шофер Гандары, — сказал Мейзлик, чтобы поддразнить дядюшку,

Дядюшка Питр покачал головой.

— Шофер? — возразил он. — В мое время этого не случалось. Не припомню, чтобы шофер совершил убийство с целью грабежа. Шоферы пьянствуют и воруют хозяйский

бензин. Но убивать?... Я не знаю такого случая. Молодой человек, я придерживаюсь своего опыта. Поживите-ка с мое...

Юрист Мейзлик был как на иголках.

— Господин следователь, — быстро сказал он, — есть еще третья возможность. У барона Гандары была связь с одной замужней дамой. Красивейшая женщина Праги! Может быть, это убийство из ревности?

— Бывает, бывает, — согласился дядюшка Питр. — Таких убийств на моей памяти было пять штук. А кто муж этой дамочки?

— Коммерсант, — ответил Мейзлик, — владелец крупнейшей фирмы.

Дядюшка Питр задумался.

— Опять ничего не получается, — сказал он. — У меня еще не было случая, чтобы крупный коммерсант кого-нибудь застрелил. Мошенничество — это пожалуйста. Но убийства из ревности совершаются в других кругах общества. Так-то, коллега.

— Господин следователь, — продолжал Мейзлик, — вам известно, на какие средства жил барон Гандара? Он занимался шантажом. Гандара знал ужасные вещи о... ну, о многих очень богатых людях. Стоит призадуматься над тем, кому могло быть выгодно... гм... устранить его.

— Ах, вот как! — заметил дядя Питр. — Такой случай у меня однажды был, но мы не сумели уличить убийцу и только осрамылись. Нет, и не думайте, я уже раз обжегся на таком деле, во второй раз не хочу! Для меня достаточно обыкновенного грабежа с убийством, я не люблю сенсаций и загадочных случаев. В ваши годы я тоже мечтал раскрыть нашумевшее преступление. Честолюбие, ничего не поделаешь, молодой человек. С годами это проходит, и мы начинаем понимать, что бывают только заурядные случаи...

— Барон Гандара не был заурядной фигурой, — возразил Мейзлик. — Я его знал: авантюрист, черный, как цыган, красивейший негодяй, какого я когда-либо видел. Загадочная, демоническая личность. Шулер и самозванный барон. Послушайте меня, такой человек не умирает обыкновенной смертью и даже не становится жертвой заурядного убийства. Здесь что-то покрупнее. Это крайне таинственное дело.

— Зачем же его сунули мне? — недовольно проворчал дядюшка Питр. — У меня голова не так варит, чтобы разгадывать всякие тайны. Плевать мне на загадочные дела. Я люблю заурядные, примитивные преступления, вроде убийства лавочницы. Переучиваться я теперь не стану, молодой человек. Раз это дело поручили мне, я его отработаю по-своему, из него выйдет обычный грабеж с убийством. Если бы он достался вам, вы бы сделали из него уголовную сенсацию, любовную историю или политическую аферу. У вас, Мейзлик, романтические наклонности, вы бы это убийство превратили в феерическое дело. Жаль, что его не дали вам.

— Слушайте, — хрипло сказал Мейзлик. — Вы не станете возражать, если я... совершенно неофициально, частным образом... тоже занялся бы этим делом? Видите ли, у меня много знакомых, которым кое-что известно о Гандаре... Разумеется, вся моя информация была бы в вашем распоряжении, — поспешно добавил он. — Дело оставалось бы за вами. А!

Дядюшка Питр раздраженно фыркнул.

— Покорно благодарю, — сказал он. — Но ничего не выйдет. Вы, коллега, работаете совсем в другом стиле. У вас получится совсем не то, что у меня, наши методы несовместимы. Ну, что бы я делал с вашими шпионами, игроками, светскими дамами и всем этим избранным обществом? Нет, приятель, это не для меня. Если дело расследую я, то из него получится мой обычный, вульгарный казус... Каждый работает, как умеет.

В дверь постучали. Вошел полицейский агент.

— Господин следователь, — доложил он. — Мы выяснили, что у привратника в доме

Гандары есть племянник. Парень двадцати лет, без определенных занятий, живет в Вршовице, дом номер тысяча четыреста пятьдесят один. Он часто бывал у этого привратника. А у служанки Гандары есть любовник, солдат. Но он сейчас на маневрах.

— Вот и хорошо, — сказал дядюшка Питр. — Навестите-ка этого племянничка, сделайте у него обыск и приведите его сюда.

Через два часа в руках у Питра был бумажник Гандары, найденный под матрацем у того парня. Ночью убийцу взяли в какой-то пьяной компании, а к утру он сознался, что застрелил Гандару, чтобы украсть бумажник, в котором было пятьдесят с лишним тысяч крон.

— Вот видишь, Меншик, — сказал мне дядюшка Питр. — Это совершенно такой же случай, как со старухой с Кршеменцовой улицы. Ее тоже убил племянник привратника. Черт подери, подумать только, как разукрасил бы это дело Мейзлик, попадись оно ему в руки. Но у меня для этого не хватает воображения, вот что!

Похождения брачного афериста

— Что правда, то правда, — скромно откашлявшись, вставил сыскной агент Голуб. — Мы, полицейские, не любим из ряда вон выходящих событий и новых людей в преступном мире. Гораздо приятнее иметь дело со старым, испытанным правонарушителем. В таких случаях мы, во-первых, сразу знаем, чьих это рук дело, потому что каждый из них работает на свой лад. Во-вторых, мы знаем, где найти его, а в-третьих, он не утруждает нас запираТЕЛЬСТВОМ, так как знает, что все равно оно не поможет. Да, господа, работать с таким человеком одно удовольствие. И в тюрьме тоже, скажу вам, профессиональные преступники пользуются доверием и благосклонностью начальства Новички и случайные арестанты — это ворчуны и скандалисты Все им не так... А вот опытный преступник знает, что тюрьма — это профессиональный риск, и, попадая за решетку, не портит жизнь себе и другим. Но, собственно, это к делу не относится.

Лет пять тому назад стали мы вдруг получать донесения из различных мест о неизвестном брачном аферисте. Судя по описаниям, этот аферист был пожилой полный мужчина, лысый, с пятью золотыми зубами. Он называл себя Мюллером, Прохазкой, Шимеком, Шебеком, Шиндеркой, Билеком, Гро-мадкой, Пиводой, Бергром, Бейчеком, Сточесом и еще тысячью фамилий. Описание не подходило ни к одному из известных нам брачных аферистов; видимо, это был какой-то новый. Наш шеф вызвал меня и говорит:

— Голуб, вы занимаетесь вокзалами и поездами. Поглядывайте, не встретится ли вам где-нибудь субъект с пятью золотыми зубами.

Ладно, начал я заглядывать в рот пассажирам. За две недели я обнаружил троих с золотыми зубами и заставил их предъявить документы. Черт возьми, оказалось, что один из них — школьный инспектор, а другой даже член парламента. Знали бы вы, как они честили меня и как мне попало у нас, в полиции! Тут я озлился и твердо решил, что доберусь до этого типа. Хоть его аферы не по моей специальности, но мне хотелось отплатить ему за неприятности, которые я из-за него претерпел.

Частным порядком я навестил обманутых вдов и сирот, у которых выманил деньги этот жулик с золотыми зубами, обещая жениться. Вы себе представить не можете, как плакали и жаловались эти многострадальные сироты и вдовы! Но все они сходились на том, что обманщик был интеллигентный и представительный господин с золотыми зубами. Он так красиво и проникновенно расписывал прелести семейной жизни! Слушали они его охотно, но ни одна не сняла отпечатков пальцев... До чего легковёрны женщины! Одиннадцатая жертва — это было в Каменице — сквозь слезы рассказала мне, что этот субъект был у нее три раза. Он всегда приезжал поездом в половине одиннадцатого утра и, когда в последний раз уходил с ее сбережениями в кармане, взглянул на номер дома и с удивлением сказал:

— Смотрите-ка, Марженка, сама судьба указывает, что мы должны пожениться: номер вашего дома шестьсот восемнадцать а я всегда выезжаю к вам поездом в шесть

восемнадцать. Не доброе ли это знамение?

Услышав такие слова, я сказал: «Ей-богу, это знамение!» И тотчас вытащил из кармана расписание поездов. Из него я без труда выяснил, с какой станции можно выехать в шесть часов восемнадцать минут, чтобы пересесть на поезд, прибывающий в Каменице в десять часов тридцать пять минут. Тщательно все проверив, я убедился, что это станция Быстрице-Нововес. Железнодорожный сыщик, знаете ли, должен хорошо ориентироваться в таких вещах.

В первый же свободный день я поехал в Быстрице и спрашиваю там, на вокзале, не ездит ли оттуда толстый господин с золотыми зубами. «Ездит, — говорит мне начальник станции, — и довольно часто. — Это коммивояжер Лацина, что живет вон там, в домике на нижней улице. Вчера вечером он как раз откуда-то приехал».

Пошел я к этому Лацине. В сених встречаю маленькую аккуратненькую хозяйку, спрашиваю ее: «Здесь живет господин Лацина?», — „Это, говорит, мой муж, он сейчас спит после обеда“. — „Не важно“, — говорю я и иду в комнаты. На диване лежит человек без пиджака; увидев меня, он восклицает: «Батюшки мои, господин Голуб! Мамочка, подай ему стул».

Тут у меня вся злость прошла — это был мой старый знакомый, аферист Плихта, специалист по лотерейным билетам. За ним числилось не меньше десяти отсидок.

— Здорово, Винценц, — говорю я. — Ты что, бросил уже лотереи? I

— Бросил, — говорит Плихта, садясь на диване. — В таком деле вечно надо быть на ногах, а я уже не мальчик. Пятьдесят два года. Хочется отдохнуть. Без конца шататься по домам — это уже не для меня.

— Поэтому ты и взялся за брачные аферы, старый мошенник?

Плихта вздохнул:

— Господин Голуб, надо же человеку чем-то жить. Видите ли, когда я в последний раз сидел в кутузке, у меня испортились зубы. Я думаю, это от чечевичной похлебки. Пришлось вставить золотые. Вы себе представить не можете, какое доверие вызывает человек с золотыми зубами. Кроме того, у меня улучшилось пищеварение, и я пополнил. С такими данными волей-неволей пришлось взяться за брачные дела.

— А где деньги? — прервал я. — У меня в блокноте записаны все твои аферы — их одиннадцать, на общую сумму двести шестнадцать тысяч крон. Где они?

— Ах, господин Голуб, — отвечает Плихта. — Здесь все имущество принадлежит жене. Дело есть дело. Мое только то, что при мне — шестьсот пятьдесят крон, золотые часы и золотые зубы. Мамочка, я поеду с господином Голубом в Прагу. Но зубы я вставил в рассрочку и должен еще заплатить за них триста крон. Эту сумму я себе оставляю.

— А сто пятьдесят крон ты должен портному, — напомнила мамочка.

— Правильно! — сказал Плихта. — Господин Голуб, я превыше всего ставлю порядочность и аккуратность. Порядочность необходима при каждой сделке. Эти качества всегда написаны у человека на лице. Верно? У кого нет долгов, тот смело глядит всем в глаза. Без этого нельзя вести дела Мамочка, обмахни щеткой мое пальто, чтобы я не осрамил тебя в Праге... Так поехали, господин Голуб?

Плихте дали всего пять месяцев, потому что почти все женщины заявили на суде, что давали ему деньги добровольно и что прощают его. Только одна не захотела простить — богатая вдова, которую он накрыл всего на пять тысяч.

Через полгода я снова услышал о двух брачных аферах. Опять Плихта, подумал я, но не стал заниматься этим делом. В это время пришлось мне поехать на вокзал в Пардубице, там как раз орудовал один «багажник», — знаете, вор, что крадет чемоданы на перроне. Недалеко от Пардубице жила на даче моя семья. Я взял для детей в чемоданчик сарделек и копченой колбасы — в деревне, видите ли, это редкость По привычке я прошел через весь поезд. Гляжу — в одном купе сидит Плихта и обольщает немолодую даму разговорами о нынешнем падении нравов

— Винценц! — говорю я — Опять небось обещаешь жениться?

Плихта покраснел и, торопливо объяснив спутнице, что ему нужно поговорить со мной по торговому делу, вышел в коридор и сказал мне с укором:

— Господин Голуб, зачем же так при посторонних! Достаточно кивка, и я сразу выйду к вам По какому делу вы хотите меня притянуть?

— Опять нам заявили о двух брачных аферах, — говорю я. — Но я сейчас занят, так что сдам тебя полицейскому посту в Пардубице.

— Пожалуйста, не делайте этого, господин Голуб Я привык к вам, да и вы меня знаете Уж лучше я пойду с вами. Прошу вас, господин Голуб, ради старого знакомства

— Никак не выходит, — говорю я. — Я должен заехать к своим, это в часе езды отсюда Куда же мне девать тебя на это время?

— А я с вами поеду, господин Голуб По крайней мере, вам не будет скучно

И он поехал со мной. Когда мы вышли за город, он говорит

— Дайте-ка ваш чемоданчик, господин Голуб, я его понесу И знаете что: я пожилой человек Когда вы на людях говорите мне «ты», странное это производит впечатление

Ну, я представил его жене и свояченице как старого знакомого. Так слушайте же, что вышло. Свояченице моей двадцать пять лет, она очень недурна собой. Плихта с ней мило так и солидно побеседовал, а детям дал по конфетке. После кофе он предложил погулять с барышней и детьми и подмигнул мне: мол, мы, мужчины, понимаем друг друга, у вас с женой есть о чем поговорить Вот какой это был деликатный человек!

Когда они через час вернулись, дети держали Плихту за руки, свояченица раскраснелась, как пион, и на прощание долго жала ему руку

— Слушай, Плихта, — сказал я, когда мы вышли из дому — С чего это тебе вздумалось кружить голову нашей Маничке?

— Привычка, — ответил Плихта немного грустно. — Господин Голуб, я тут ни при чем, все дело в золотых зубах. Мне от них одни неприятности, честное слово. Я женщинам никогда не говорю о любви, в моем возрасте это не подобает. Но именно поэтому они и клюют. Иногда мне думается, что у них нет настоящих чувств, а одна лишь корысть потому что у меня внешность обеспеченного человека.

Когда мы пришли на вокзал в Пардубице я говорю ему

— Ну, Плихта, придется все-таки сдать тебя здешней полиции. Мне тут нужно заняться расследованием одной кражи

— Господин Голуб, — стал он упрашивать, — оставьте меня пока на вокзале, в ресторане. Я закажу чай и почитаю газеты. Вот вам все мои деньги, четырнадцать тысяч с лишним. Без денег я не убегу, мне нечем расплатиться с кельнером.

Оставил я его в ресторане, а сам пошел по делам. Через час заглядываю в окно: сидит на том же месте, нацепив золотое пенсне, и читает газеты. Еще через полчаса я покончил с делами и захожу за ним. Вижу, он уже за соседним столиком, в обществе какой-то обрюзгшей блондинки, с достоинством отчитывает кельнера за то, что тот подал ей кофе с пенками. Увидев меня, он распрощался с дамочкой и подошел ко мне.

— Господин Голуб, не могли бы вы забрать меня через недельку? Как раз работа подвернулась.

— Очень богатая дама? — спрашиваю я. Плихта даже рукой махнул.

— У нее фабрика, — прошептал он. — И ей нужен опытный человек, который мог бы помочь ей советом. Сейчас она как раз собирается купить новое оборудование.

— Ага, — говорю я, — так пойдем, я тебя представляю. И подхожу к этой дамочке.

— Здорово, — говорю, — Лойзичка! Все еще ловишь пожилых мужчин?

Блондинка покраснела до корней волос и говорит:

— Батюшки мои, господин Голуб, я не знала, что это ваш знакомый.

— Ну, так убирайся подобра-поздорову. Господин советник юстиции Дундр давно интересуется тобой. Он, видишь ли, называет твои проделки мошенничеством.

Плихта был просто убит горем.

— Господин Голуб, — говорит он, — никогда бы не подумал, что эта дамочка тоже аферистка.

— Да, — отвечаю, — да еще и легкого поведения. Представь себе: она выманивает деньги у пожилых мужчин, обещая выйти за них замуж.

Плихта даже побледнел.

— Какая низость! — воскликнул он. — Можно ли после этого верить женщинам?! Господин Голуб, это уж переходит всякие границы!

— Ладно, — говорю, — подожди меня здесь, я куплю тебе билет в Прагу. Какой тебе класс, второй или третий?

— Господин Голуб, — возразил Плихта, — зачем же бросать деньги на ветер? Я, как арестованный, имею право на бесплатный проезд. Уж вы меня отвезите на казенный счет. Нашему брату приходится беречь каждую копейку.

Всю дорогу Плихта честил эту дамочку. Я никогда не видел такого глубокого и благородного негодования. В Праге, когда мы вышли из вагона, Плихта говорит:

— Господин Голуб, я знаю, что на этот раз получу семь месяцев. А я, видите ли, очень недолюбливаю тюремную кормежку. Мне бы хотелось в последний раз прилично поесть. Четырнадцать тысяч, что вы у меня взяли, это весь мой доход от последнего дела. Могу я позволить себе хотя бы поужинать? Кроме того, мне хотелось бы отблагодарить вас за гостеприимство.

Мы вместе пошли в один из лучших трактиров. Плихта заказал себе ростбиф и выпил пять кружек пива, а я заплатил из его кошелька, после того как он трижды проверил, не обманул ли нас кельнер.

— Ну, а теперь в полицию, — говорю я.

— Одну минуточку, господин Голуб, — говорит он. — В последнем деле у меня были большие накладные расходы. Четыре поездки туда и обратно по сорока восьми крон за билет — триста восемьдесят четыре кроны. — Он нацепил пенсне и подсчитал на клочке бумаги. — Потом питание примерно по тридцать крон в день... я должен хорошо питаться, господин Голуб, это тоже издержки гешефта... итого сто двадцать крон. Букет, что я преподнес барышне, стоит тридцать пять крон, это долг вежливости. Обручальное кольцо — двести сорок крон, оно было позолоченное, господин Голуб. Не будь я порядочный человек, я бы сказал, что оно золотое, и посчитал бы за него шестьсот крон. Кроме того, я купил ей торт за тридцать крон. Далее, пять писем, по кроне на марку, и объявление в газете, по которому я с ней познакомился, восемнадцать крон. Общий итог, стало быть, восемьсот тридцать две кроны. Эту сумму вы, пожалуйста вычтите из отобранных у меня денег. Я эти восемьсот тридцать две кроны пока оставляю у вас. Я люблю порядок, господин Голуб, накладные расходы должны быть покрыты. Ну вот, а теперь пошли

Уже в коридоре полицейского управления Плихта вспомнил еще один расход.

— Господин Голуб, я этой барышне подарил флакон духов. Заприходуйте мне, пожалуйста, еще двадцать крон

Затем он тщательно высморкался и безмятежно проследовал в кутузку.

Баллада о Юрае Чупе

— Такое и впрямь бывает, — заметил жандармский капитан Гавелка, — то есть порой встречаешь у преступников такую особую совесть. Я много чего мог бы порассказать на сей счет, но, пожалуй, самое удивительное — это случай с Юраем Чупом. Произошел он, когда я служил в Подкарпатье, в Ясине.

Как — то январской ночью надрались мы у еврея в корчме. Пили окружной начальник, какой-то железнодорожный инспектор и прочая чистая публика Ну и, конечно, цыгане А знаете, что за народ эти цыгане? Хамово отродье, ей-ей. Начинают играть «на ушко», все ближе, все теснее обступают тебя, крысы проклятые, все тише водят смычком, и так

зачаровывают слух, что разве лишь душу из тела не вынимают, — по-моему вся эта их музыка — одно распутство, страшное и непостижимое. Так вот, прилипли они ко мне, я и очумел, я ревел как олень, раскроил штыком стол, колотил стаканы, горланил песни, бился головой об стену и готов был не то убить кого, не то влюбиться — не пойму: когда цыгане околдуют тебя вконец, тут уж, голубчики, такое вытворять начнешь... Помню, Меня уже совсем развезло, и тут подступил ко мне еврей шинкарь да и говорит, что за дверью, перед трактиром, меня ждет какой-то руснячок.

— Пусть себе ждет или приходит завтра! — заорал я. — Нынче не до него — нынче я хороню свою молодость и оплакиваю свои надежды; я без памяти люблю одну женщину, прекрасную и неприступную! — играй же, разбойник цыган, развея мою грусть...

Словом, нес я всякую околесицу — видно, с музыкой всегда так — впадаешь в душевную тоску и жаждешь только напиться. Прошло еще какое-то время, и снова ко мне подошел шинкарь со словами, что русин на улице все еще ждет меня. Но я все еще не оплакал своей молодости и не утопил в самородном вине своей печали; я только махнул рукой, словно Чингисхан какой, — дескать, все едино, лишь бы цыгане играли; что было дальше — уж и не припомню, но когда под утро я выбрался из корчмы, на улице стоял трескучий мороз, снег под ногами звенел как стекло, а перед кабаком маячил русин в белых лаптях, белых гатях и белом овчинном тулупе. Завидев меня, он низко поклонился и что-то прохрипел.

— Чего тебе, братец? — говорю. — Будешь задерживать, получишь в зубы.

— Ясновельможный пан, — отвечает русин, — послал меня сюда староста Воловой Леготы. Там Марину Матейову убили.

Я малость протрезвел; Волова Легота — это село или, скажем, горный хутор о тринадцати хатах, километрах в тридцати от нас; словом, в зимнюю пору пройти отсюда — изрядное удовольствие,

— Господи! — воскликнул я, — да кто же ее убил-то?

— Я и убил, ясновельможный пан, — покорно признался русин. — Юрай Чуп меня прозывают, Димитра Чупа сын.

— И сам идешь на себя доносить? — напустился я на него.

— Староста велел, — смиренно произнес Юрай Чуп. — Юрай, наказал, иди заяви жандарму, что убил Марину Матейову.

— А за что ты ее убил? — заорал я.

— Бог повелел, — объяснил Юрай, как будто это разумелось само собой. — Бог повелел — убей Марину Матейову, родную сестру, одержимую бесом.

— Паралик тебя расшиби, — выругался я, — да как же ты из своей Воловой Леготы добрался?

— С божьей помощью, — благочестиво отвечивал Юрай Чуп. — Господь меня хранил, чтоб я в снегу не сгинул. Да святится имя его!

Если бы вы только знали, что такое метель в Карпатах, если бы могли представить себе двухметровые сугробы — тогда бы вы поняли, каково это хилому, тщедушному человечку шесть часов проторчать перед корчмой на страшном морозе, чтобы сообщить, что он, Юрай Чуп, убил недостойную рабу божью Марину Матейову. Не знаю, что вы сделали бы на моем месте, но я осенил себя крестом; перекрестился и Юрай, а потом я его арестовал; умылся снегом, надел лыжи, и мы с одним жандармом, по фамилии Кроупа, помчали вверх, в горы, в Волову Леготу. И если бы сам жандармский полковник остановил меня увещанием: «Гавелка, дурья башка, никуда ты не поедешь, ведь в таком снегу не трудно и жизни лишиться», — я бы отдал честь и ответил: «Осмелюсь доложить, господин полковник, на то воля господня». И поехал бы дальше. И Кроупа тоже поехал бы, потому как родился он в районе Жижкова, а я еще не встречал жижковца, упустившего случай, хвастовства ради, побывать там, где пахнет приключением либо глупостью. Словом, поехали.

Не буду описывать наш путь; скажу только, что под конец Кроупа от страха и усталости рыдал, словно малое дитя, и раз двадцать у нас появлялась мысль: дескать, дело — труба, нам отсюда не выбраться; короче, тридцать километров мы шли одиннадцать часов, от темна дотемна; я говорю об этом просто для того, чтоб вы вообразили себе, каково нам пришлось Жандарм — что конь если уж он тычется лицом в снег и хнычет, дальше, мол, нет сил идти, то дело дрянь, хуже не бывает. Я двигался словно во сне и твердил одно — «Этот путь преодолел Юрай Чуп, человечек худенький, как щепка, а он еще шесть часов простоял на морозе, потому как выполнял наказ старосты; Юрай Чуп с мокрыми лаптями на ногах, Юрай Чуп, застигнутый снежной метелью; Юрай Чуп, не оставленный промыслом божьим. Послушайте, если бы вы увидели, что камень катится вверх, а не вниз, то наверняка решили бы, что это — чудо, — но никто не сочтет чудом крестный путь Юрая Чупа, который шел донести на самого себя, — а ведь это было куда более веское доказательство некоей могущественной силы, чем камень, катящийся по горе вверх. Погодите, не прерывайте меня... так вот, коли кому охота видеть чудо, надо смотреть на людей, а не на камень».

Когда мы добрались до Воловой Леготы, то больше походили на призраков и не знали, на каком мы свете Стучимся к старосте; все спят, потом староста вылез с ружьем в руках, бородатый такой великан. Увидел, кто мы, стал на колени и принялся снимать с нас лыжи, храня полное молчание. Когда я теперь вспоминаю об этом, все мне представляется дивным видением, торжественным и простым, — ни слова не говоря, староста повел нас к одной из хат; в горнице горели две свечи; перед образом молилась женщина, вся в черном, на постели — в белой рубашке лежала мертвая Марина Матейова, шея у нее была располосована чуть ли не до позвонков, — страшная и притом удивительно чистая рана, словно мясник разделявал пороса, — и лицо было нечеловечески белое, такими лица бывают, когда кровь вытекла вся до последней капли.

Потом — также в полном безмолвии — староста повел нас к себе; но в его избу уже набилось одиннадцать мужиков в кожных — не знаю, помните ли вы, как воняют эти кожные из овчин: как-то щемяще и ветхозаветно. Староста усадил нас за стол, откашлялся, поклонился и сказал:

— Во имя господа нашего печалуемся о кончине рабы божьей Марины Матейовой. Да смилуется над ней господь

— Аминь, — произнесли одиннадцать мужиков и перекрестились.

А староста продолжал:

— Два дня назад ночью слышу я: у порога тихонько скребется кто-то. Думал, лисица, взял ружье и пошел к двери. Отворил, а на пороге — женщина. Поднял ее, а голова-то у нее назад и запрокинулась. Это была Марина Матейова с перерезанной глоткой. Оттого она ничего и сказать не могла

Староста внес Марину в избу и положил на постель; потом велел пастуху трубить и сзывать к нему всех хозяев Воловой Леготы. Когда все собрались, обратился к Марине и сказал:

— Марина Матейова, пока ты жива, дай нам свидетельство, кто тебя убил. Марина Матейова, не я ли убил тебя?

Марина не могла покачать головой, лишь глаза прикрыла.

— Марина, не был ли это сосед твой Влага, сын Василя? Марина прикрыла свои страдальческие очи.

— Марина Матейова, а не хозяин ли Когут, по прозвищу Ванька, что стоит здесь, учинил это? Не Мартин ли Дудаш, твой сосед? Марина, не Баран ли это был, по имени Шандор? Марина, стоит тут Андрей Воробец, не он ли содеял зло? Марина, вот теперь перед тобой Клишко Безухий, не он ли? И не этот ли мужик, не Штепан ли Бобот? Марина, а может, сотворил беду Татка, лесник, сын Михала Татки? Марина...

В эту минуту распахнулась дверь, и вошел Юрай Чуп, брат Марины Матейовой. Марина вздрогнула, глаза у нее полезли из орбит

— Марина, — продолжал староста, — кто же убил тебя? Не приходил ли сюда Федор, по имени Терентик?

Но Марина уже не отвечала

— Молитесь! — сказал Юрай Чуп, и все мужчины опустились на колени. Наконец староста поднялся и сказал:

— Впустите сюда женщин!

— Рано еще, — вмешался старый Дудаш. — Усопшая раба божия, Марина Матейова, во имя бога, дай знак: не убил ли тебя Дюро, пастух?

Наступила тишина.

— Марина Матейова, душа, представшая перед господом, не Иван ли Тот, Иванов сын, убил тебя?

У всех перехватило дыхание

— Марина Матейова, во имя бога живого, ведь выходит, что убил тебя родной брат, Юрай Чуп?

— Я убил, — сказал Юрай Чуп — Господь повелел мне убей Марину, в нее вселился злой дух

— Закройте ей глаза, — приказал староста. — А ты, Юрай, пойдешь теперь в Ясину и явишься к жандармам Убил, скажешь, Марину Матейову И до той поры не присядешь и крошки в рот не возьмешь. Иди, Юрай!

После этих слов староста отворил дверь и впустил в избу женщин, чтоб они оплакали покойницу.

Знаете, я до сих пор не пойму, от этих ли овчинных кожухов, от утомления ли, но в том, что я видел и слышал, было так много поразительной красоты, а может — величия! Я должен был выйти на мороз, потому что у меня закружилась голова, ей-богу, что-то росло в душе, словно долг велел мне подняться и сказать — «Люди божьи, божьи люди! Мы будем судить Юрая Чупа светским судом, но в вас живет закон божий» Я готов был поклониться им в пояс; но жандарму это делать не положено; потому я вышел вон и так долго себя костерил, пока снова не обрел свою жандармскую душу

Знаете, жандармская служба — ремесло грубое. Утром нашел я в халупе Юрая Чупа долларовые бумажки, которые покойница Марина получала от мужа из Америки. Разумеется, пришлось об этом доложить, ну, в суде и состряпали дело об убийстве с целью ограбления Юрая приговорили к смерти через повешение. Но лично меня никто не убедит, что тот свой крестный путь он проделал лишь своей волей. Мне хорошо известно, что в силах человеческих, а что выше человеческих сил. И, думаю, теперь я немножко представляю себе, что такое суд божий.

Рассказ об утерянной ноге

— Иной раз не поверишь, — заметил пан Тымих, — сколько может вынести человек. Дайте-ка вспомнить, ну да, это было в войну, когда я служил в Тридцать пятом; был у нас там один солдатик, как же его звали? То ли Дында, то ли Отагал, а может, Петерка, но мы его называли Пепеком; в общем-то, славный малый, только слабый больно — хоть плачь. Ну, пока нас гоняли по плацу, он делал, что мог, хоть и страдал, бедняга, ужасно; но нас привезли на фронт, — под Краковом дело было, — и выбрали там страшно неудачную позицию, по ней прямо так и жарила русская артиллерия. Поначалу Пепек — ничего, только глазами хлопает, но как-то раз подошел он к лошади с разорванным брюхом, — лошадь еще храпела и пыталась подняться, — то побледнел, шмякнул фуражкой оземь, допустил оскорбление его величества, положил винтовку и ранец, да и двинул в тыл.

Как он добрался до дому за пятьсот или сколько там километров, ей-богу, не могу себе представить; только однажды ночью постучал он в свой дом и говорит жене: «Мать, это я, и обратно я уже не вернусь; но если они меня найдут, то мне крышка; дезертир я». Поплакали

они вместе, потом жена и говорит:

— Пепек, я от тебя не отступлюсь, спрячу тебя в навозной яме, там никто тебя искать не будет. — И вот завалила она его навозом, прикрыла досками, и просидел там Пепек пять месяцев; господа, такого не вынес бы ни один великомученик. Потом его выдала соседка в отместку за какую-то курицу; явились полицейские выгребать Пепека из навоза; так, знаете, пришлось им докупать десять метров веревки, чтобы не нюхать вони, пока они его, связанного, вели в город.

Когда, значит, вонь повыветрилась, привели Пепека в трибунал. Допрос вел тогда некто Диллингер; одни считали, что он — собака, другие — что свой парень; ах, как он умел ругаться! Знаете, это уж надо признать, — во времена Австро-Венгрии ругаться умели! Чувствовалась старая закалка. Нынче и обругать-то не умеют как следует; зато оскорбить — сколько угодно. Так вот, этот Диллингер приказал привести Пепека во двор и судил его через окно, ближе не желал подпускать. Сами понимаете, дело Пепека было дрянь, за дезертирство в военное время полагается расстрел, тут тебе и сам господь бог не поможет. А Диллингер ни с кем долго не хороводился, все-таки он был собака. Ну/с, доходит дело до вынесения приговора, тут Диллингер возьми да крикни из окна:

— А что, Пепек, когда ты там в дерьме сидел, неужто не хаживал к своей старухе погреться?

Пепек потоптался в смущении и, густо покраснев, выдавил:

— Осмелюсь доложить, господин председатель, хаживал; как же без этого!

Тут председатель закрыл окно и вздохнул: f«О, господи!» Потом он долго качал головой и бегал из угла в угол, пока не успокоился, и тогда сказал:

— Пусть меня переведут на пенсию, но я этого парня на смерть не пошлю, хотя бы уж ради его жены; тьфу, черт, вот это любовь!

. И как — то свел дело к трем годам заключения.

В заключении Пепеку поручили ухаживать за садом некоего полковника Бабки. Этот Бабка вспоминал потом, что отродясь не было у него таких прекрасных крупных овощей, как в то время, когда их разводил Пепек. «Бог знает, — говорил этот начальник, — с чего это у него все так росло?!»

— Во время войны, — заметил пан Краль, — случилось множество необыкновенных историй; и если собрать все, на что люди шли — лишь бы не воевать за Австрию, то это составило бы больше фолиантов, чем «Acta Sanctorum», которые издают святые отцы — болландисты. У меня есть племянник Лойзик, в Радлицах у него хлебопекарня; когда его призвали в армию, он сказал мне: «Дядя, я вам говорю, на фронт им меня не выпереть, скорее я ногу себе отрублю, чем стану помогать немецким крысам».

Лойзик был ловкий парень; пока новобранцы упражнялись в ружейных приемах, он был готов разорваться от усердия, так что начальники видели в нем нового героя или даже будущего капрала; но когда он разнюхал, что через несколько дней их повезут на фронт, то нагнал себе температуру, стал хвататься за правую сторону живота и жалобно стонать. Его отвезли в госпиталь и вырезали слепую кишку; а там уж Лойзик подстроил так, чтобы его рана заживала помедленнее. Но все-таки месяца через полтора она кое-как затянулась, несмотря на все его старания, а война еще не кончилась. Тогда-то я и навестил его в госпитале.

— Дядя, — говорит Лойзик, — теперь мне не поможет даже сам фельдфебель; каждую минуту жду, что меня отсюда погонят.

В то время гарнизонным врачом штаба был пресловутый Обергубер. Позднее выяснилось, что этот тип был, собственно, сумасшедший, но, знаете, армия есть армия, нацепите золотые погоны на дикую свинью, и она будет командиром. Разумеется, все дрожали перед этим Обергубером; а он знай носился по госпиталям и орал: «Марш на фронт!» — не глядя на то, что у тебя открытая форма туберкулеза или ранение позвоночника, и никто не решался ему противоречить. Обергубер даже не смотрел, что написано над койкой, так это, глянет издали да гаркнет: «Frontdiensttauglich! Sofort

einrücken!» [*Годен к строевой службе! Тотчас отправить! (нем.)*] И тогда уж никакие святые тебе не помогут.

И вот этот Обергубер явился инспектировать госпиталь, где Лойзик ожидал своей судьбы. Едва только внизу, в воротах еще, раздался крик — всех, кроме мертвецов, подняли и поставили «смирно!» у коек, чтобы встретить высокое лицо, как надлежит. Ожидание, однако, затянулось, и Лойзик, для удобства став на одну ногу, коленом другой уперся в койку. В этот момент влетел Обергубер, лиловый от ярости, и еще в дверях заорал:

— Марш на войну! Этого — на фронт! Tauglich! [*Годен! (нем.)*]

Тут он увидел Лойзика, стоявшего на одной ноге, и побагровел еще пуще.

— Einbeinig [*Одноногий (нем.)*] — отправить домой! Какого черта держите вы этого одноногого? Или тут приют для калек? Убрать его! Негодяи, всех вас за это на фронт!

Подчиненные, побелев от ужаса, залепетали, что все будет немедленно сделано, а Обергубер уже вопил у другой постели, что оперированный вчера солдат должен sofort [*тотчас (нем.)*] на фронт.

Итак, Лойзик в тот же час, с документами, подписанными самим Обергубером, был отпущен домой как одноногий инвалид. Этот Лойзик был шибко' умный парень; он немедленно подал заявление, чтобы его, пожизненного калеку, вычеркнули из списка военнообязанных и чтобы ему назначили пенсию по инвалидности, потому что, как пекарю, ему нужны обе ноги, — пусть, как говорится о пекарях, даже кривые, поскольку об одной официально признанной ноге он не может работать по специальности. После надлежащих проволочек он получил извещение, что он признан инвалидом на сорок пять процентов, вследствие чего имеет право получать ежемесячно столько-то крон пенсии. Вот отсюда-то, собственно, и начинается история о потерянной ноге.

Лойзик получал пенсию, помогал отцу в пекарне и даже женился; лишь иногда он замечал, что как бы слегка прихрамывает или припадает на ту самую ногу, которой не признал Обергубер: но это его даже радовало: похоже, будто у него протез. Потом война закончилась, и была объявлена республика; а Лойзик из-за этой своей своеобразной порядочности продолжал получать пенсию.

Однажды он пришел ко мне, и видно было, что у него какие-то неприятности.

— Дядя, — не сразу выговорил он, — сдается мне, что нога-то вроде как укорачивается и сохнет. — Он засучил штанину и показал ногу; она стала тонкая, как палка. — Боюсь, дядя, — говорит Лойзик, — как бы мне все-таки эту ногу не потерять.

— Да ты сходи к врачу, шляпа! — посоветовал я.

— Дядя, — вздохнул Лойзик, — сдается мне, не болезнь это; может, все это просто оттого, что ногу-то мне не положено иметь. Ведь черным по белому написано, что правая нога у меня отнята по колено, — как думаете, не оттого ли она, так сохнет?

Спустя некоторое время он пришел ко мне снова, и уже опираясь на палку.

— Дядя, — в страхе говорит он, — я калека, — я уже и встать на эту ногу не могу. Врач говорит, это атрофия мышц и, скорее всего, от нервов. Посылает меня на воды, а мне кажется, он и сам в это не верит. Потрогайте, дядя, нога-то холодная, словно мертвая. Врач говорит, это от плохого кровообращения, — как думаете, а вдруг она у меня сгниет?

— Послушай, Лойза, я дам тебе один совет: заяви про свою ногу официально, пусть вычеркнут, что ты одноногий. Может, тогда твоя нога выправится?

— Но, дядя, — возразил Лойзик, — тогда скажут, что я незаконно получал пенсию и ограбил казну на безбожную сумму. Ведь меня заставят вернуть все!

— Что ж, держись за свои деньги, скряга несчастный, — говорю я ему, — а с ногой распрощись, только потом не ходи ко мне плакаться.

Через неделю он явился снова

— Дядя! — еще с порога заныл он, — эти чинуши не хотят признавать мою ногу! Говорят: все равно она сухая и ни к чему не годная, — что мне с ними делать?

Вы не поверите, сколько пришлось ему побегать, пока официально признали, что у него обе ноги! Разумеется, потом Лойзика еще таскали за обман государства, собирались

даже обвинить в уклонении от воинской повинности, и намотался же бедняга по канцеляриям! Зато нога у него начала крепнуть. И крепла, быть может, она как раз от этой самой беготни; только я лично думаю, это произошло скорее оттого, что ее признали официально; все-таки великая сила официальная бумажка! А пожалуй, нога усыхала у него потому, что владел он ею, собственно, незаконно; дело-то было нечисто, а это всегда за себя мстит. Скажу вам, друзья, чистая совесть — вот лучшая гигиена, и если бы люди жили по справедливости, то, может, и не умирали бы...

Головокружение

— Совесть! — воскликнул пан Лацина. — Нынче это называют уже не так. Теперь это называется «подавленными представлениями», но это что в лоб, что по лбу. Не знаю, слышал ли кто из вас о случае с фабрикантом Гирке. Это был очень богатый и важный господин, рослый и крепкий, как дуб, — рассказывали, что он вдовец, а больше никто ничего о нем не знал — такая уж это была замкнутая натура. Так вот, когда ему перевалило за сорок, он влюбился в хорошенькую молоденькую куколку, всего семнадцати лет, но такую красавицу, что дух захватывало; ведь от подлинной красоты почему-то сжимается сердце, и то ли жалко становится чего-то, то ли великая нежность просыпается в душе, или еще там что-то... Вот на этой девушке и женился Гирке — ведь он был великий, богатый Гирке.

Провести медовый месяц они поехали в Италию, и там случилось вот что: поднялись они в Венеции на знаменитую колокольню и, когда Гирке глянул вниз — а говорят, вид оттуда прекрасный, — то побледнел и, повернувшись к молодой своей жене, рухнул, как подрубленный. С той поры он как-то еще больше замкнулся в себе; перемогаясь изо всех сил, делал вид, будто с ним ничего не происходит, только взгляд у него стал беспокойным и полным отчаяния. Понятно, жена его страшно перепугалась и увезла Гирке домой; дом у них был красивый, окнами в городской парк — там-то и начались странности Гирке: он все ходил от окна к окну — проверял, хорошо ли закрыты; только, бывало, сядет — и тут же вскакивает и бежит к окну — запирать. Даже ночью вставал, бродил как призрак по всему дому и в ответ на все вопросы бормотал только, что у него ужасно кружится голова и он должен запереть окна, чтоб не вывалиться. Жена велела тогда забрать все окна решетками, чтоб избавить его от постоянного страха. На несколько дней это помогло. Гирке немного успокоился, а потом снова начал подбегать к окнам и трясти решетки — крепко ли они держатся. Тогда на окна навесили стальные ставни, и супруги жили за ними, как замурованные. Гирке на какое-то время уgomонился. Но потом оказалось, что головокружение охватывает его на лестницах; пришлось водить его по ступенькам, поддерживая, как паралитика, а он трясся как осиновый лист и весь покрывался потом; иногда даже сядет, бывало, посреди лестницы, всхлипывает судорожно — так ему было страшно.

Естественно, начались хождения по всевозможным врачам, и, как водится, одно светило утверждало, что это головокружение — следствие переутомления, другое находило какое-то нарушение в ушном лабиринте, третье считало, что это от запоров, четвертое — от спазм мозговых сосудов; знаете, я заметил — стоит кому-нибудь сделаться выдающимся специалистом, как в нем начинается какой-то внутренний процесс, завершающийся появлением точки зрения. И тогда этот специалист говорит: «С моей точки зрения, коллега, дело обстоит так-то и так-то». На что другой специалист возражает: «Допустим, коллега, но с моей точки зрения все обстоит диаметрально противоположно». По-моему, следовало бы оставлять эти точки зрения в прихожей, как шляпы и трости; как толькопустишь человека с точкой зрения, он обязательно кто-нибудь напортит или, по крайней мере, не согласится с остальными. Но вернемся к Гирке: теперь, что ни месяц, очередной выдающийся специалист мытарил и пользовал его по совершенно новому методу; хорошо, что Гирке был здоровенный детина, он выносил все; только не мог уже вставать с кресла — головокружение начиналось, едва он взглянет на пол, — и вот он сидел, немой и

неподвижный, уставясь в темноту, и лишь порой все тело его содрогалось — он плакал.

В те поры прославился чудесами некий новый доктор, невропатолог, доцент Шпитц; этот Шпитц специализировался на излечении подавленных представлений. Он, видите ли, утверждал, что почти у каждого человека сохраняются в подсознании самые разные кошмары, или воспоминания, или вожделения, которые он подавляет, потому что боится их; эти-то подавленные представления и производят в нем нарушения, расстройства и всяческие нервные заболевания. И если знающий врач нащупает такое подавленное представление и вытащит его на свет божий, пациент почувствует облегчение, и все налаживается. Однако такой лекарь по методу психоанализа должен завоевать абсолютное доверие пациента, только тогда он сможет выудить из него сведения о чем угодно — например, о том, что ему снилось, что ему запало в память с детства и все прочее в том же роде. После чего доктор говорит: итак, дорогой мой, когда-то с вами случилось то-то и то-то (обычно что-нибудь очень постыдное), и это постоянно давило на ваше подсознание, — у нас это называется психической травмой. Теперь мы это вскрыли, и — эники, беники, чары-мары-фук! — вы здоровы. Вот, стало быть, и все колдовство.

Однако следует признать, что этот доктор Шпитц и в самом деле творил чудеса. Вы не можете вообразить, сколько богачей страдает от подавленных представлений! Бедняков они обычно мучат реже. Короче, клиентура у Шпитца была отменная. Ну-с, так вот — после того как у Гирке перебивали уже все светила медицинского мира, пригласили к нему доцента Шпитца; и Шпитц объявил, что это головокружение — явление чисто нервное, и он, Гуго Шпитц, берется избавить от него пациента. Хорошо. Только разговаривать этого Гирке, господа, оказалось совсем нелегко, — о чем бы ни спрашивал его Шпитц, больной едва цедил сквозь зубы, потом умолк, а под конец просто велел выставить доктора за дверь. Шпитц был в отчаянии: подумать только, пациент с таким положением, да это вопрос престижа! К тому же это был исключительно интересный и трудный случай нервного заболевания. И потом — пани Ирма такая красавица и так несчастна... И вот наш доцент впился в это дело как клещ. «Я должен найти у Гирке это подавленное представление, — бормотал он, — или придется бросить медицину и пойти продавцом в магазин Лёбля!»

Он решил применить новый метод психоанализа. Первым делом выяснил, сколько у Гирке разных теток, кузин, зятьев и прочих престарелых родственников всех колен и степеней; потом постарался войти к ним в доверие — такой доктор должен главным образом уметь терпеливо слушать. Родственники были очарованы — какой этот доктор Шпитц милый и внимательный. В конце концов Шпитц стал вдруг очень серьезным и обратился в одну надежную контору с предложением послать по одному адресу двух надежных сотрудников. Когда те вернулись, доктор Шпитц заплатил им за труды и прямоком отправился к Гирке. Тот сидел в полутемной комнате, уже почти неспособный двигаться.

— Сударь, — сказал ему доктор Шпитц, — не стану вас затруднять; можете не отвечать мне ни слова. Спрашивать вас я ни о чем не буду. Мне важно только установить причину ваших головокружений. Вы загнали ее в подсознание, но это подавленное представление столь сильно, что вызывает тяжкие расстройства...

— Доктор, я вас не звал! — хриплым голосом перебил его Гирке и протянул руку к звонку.

— Знаю, — ответил доктор, — но погодите минутку. Когда на колокольне в Венеции вас впервые охватил приступ головокружения — вспомните, сударь, вспомните только, что вы перед этим почувствовали?

Гирке замер, не отнимая пальца от кнопки звонка.

— Вы почувствовали, — продолжал доктор Шпитц, — вы почувствовали страшное, безумное желание сбросить с колокольни вашу молодую красавицу жену. Но так как вы ее безмерно любили, то в вас произошел конфликт, который и разрядился психическим потрясением; и вы, потеряв от головокружения равновесие, упали.

Наступила тишина — только рука, протянутая к звонку, вдруг опустилась.

— С той поры, — заговорил снова доктор Шпитц, — в вас и засел этот ужас перед

головокружительной бездной; с той поры вы начали закрывать окна и не могли смотреть с высоты, ведь в вас постоянно жила ужасная мысль, что вы можете сбросить вниз пани Ирму...

Гирке издал нечеловеческий стон.

— Да, — продолжал доктор, — но теперь, сударь, возникает вопрос, откуда же взялось у вас это навязчивое представление? Так вот, Гирке, восемнадцать лет назад вы уже были женаты. Ваша первая жена, пан Гирке, погибла во время вашей поездки в Альпы. Она разбилась при восхождении на гору Хоэ Ванд, и вы наследовали ее состояние.

Слышно было только учащенное, хриплое дыхание Гирке.

— Гирке! — воскликнул доктор Шпитц. — Ведь вы сами убили вашу первую жену. Вы столкнули ее в пропасть; и поэтому — слышите, поэтому! — вам кажется, что так же вы должны убить и вторую — ту, которую любите; поэтому вы панически боитесь глубины; от этого вы страдаете головокружениями...

— Доктор! — взвыл человек в кресле. — Доктор, что мне делать? Что мне с этим делать?!

Доцент Шпитц стал очень грустным.

— Сударь, — произнес он, — если бы я был верующим, я бы посоветовал вам: примите наказание, чтобы бог вам простил. Но мы, врачи, обычно не верим в бога. Что вам делать — тут уж решайте сами, но с медицинской точки зрения вы, по-видимому, спасены. Встаньте, пан Гирке!

Гирке поднялся, бледный, как известка.

— Ну как, — спросил доктор Шпитц, — голова по-прежнему кружится?

Гирке сделал отрицательный жест.

— Вот видите, — облегченно вздохнул доцент. — Теперь исчезнут и сопровождающие симптомы. Ваше головокружение было только следствием подавленного представления; теперь, когда мы его обнаружили, все будет хорошо. Можете выглянуть из окна? Отлично! Следовательно, все это свалилось с вас, так? Головокружения нет и в помине, верно? Пан Гирке, вы — самый интересный случай во всей моей практике! — Доктор Шпитц в восторге всплеснул руками. — Вы совершенно здоровы! Можно позвать пани Ирму? Нет? А, понимаю, вы хотите сами сделать ей сюрприз, — господа, как же она обрадуется, увидев, что вы ходите. Видите, какие чудеса творит наука...

Счастливый своим успехом, он готов был трещать хоть два часа кряду, но, заметив, что Гирке нужен покой, прописал ему что-то такое с бромом и откланялся.

— Я провожу вас, — вежливо сказал Гирке и довел доктора до лестничной площадки. — Поразительно — ни намек на головокружение...

— Слава богу! — восторженно вскричал Шпитц. — Стало быть, вы чувствуете, что вполне выздоровели?

— Совершенно, — тихо ответил Гирке, провожая взглядом доктора, спускавшегося по лестнице.

Когда за доктором захлопнулась дверь, раздался еще один тяжелый, тупой удар. Когда под лестницей нашли тело Гирке, он был мертв и страшно изломан — падая, он ударился о перила.

Когда об этом сообщили доктору Шпитцу, тот присвистнул и долго странным взглядом смотрел в пространство. Потом взял журнал, в который записывал своих больных, и к имени Гирке прибавил дату и одно только слово: «Suicidium». К вашему сведению, пан Тауссиг, это значит — «самоубийство».

Исповедь

— Подавляемые представления... — проговорил патер Вовес, священник церкви св. Матфея. — Послушайте, да ведь человечество давным-давно научилось исцелять эти самые подавляемые представления; только наша святая церковь называет это лекарство

sacramentum sanctae confessionis [*тайна святой исповеди (лат.)*]. Коли душу твою что-то давит, коли стыдишься чего, ступай, негодник, к святой исповеди да выкладывай, какие такие безобразия носишь в себе! Только мы не называем это лечением нервных заболеваний; мы называем это раскаянием, покаянием и отпущением грехов/

Постойте— ка, с тех пор прошло немало лет; был немилосердно жаркий летний день, и я зашел в свою церквушку -между прочим, я думаю, что евангелическое вероисповедание могло возникнуть только в северных краях, где даже летом не жарко. Вот в нашей католической церкви целый божий день что-то делается — месса, вечерняя или другая какая служба; там ты, по крайней мере, можешь рассматривать живопись и скульптуры; забегай в любое время, остынешь, в холодке поразмышляешь о божественном, — и этому очень даже помогает, когда на улице жарко, как в печи. Вот почему евангелики живут больше в холодных, негостеприимных странах, а мы, католики, в краях более теплых; может, всему причиной прохлада и тень в храмах господних. Ну-с, значит, стоял палящий зной, и, когда я вошел в церковь, пахло на меня удивительным умиротворением. Тут подходит ко мне причетник и говорит, что вот уже более часа какой-то человек ждет исповеди.

Ладно, это случается довольно часто, взял я в сакристии епитрахиль и сел в исповедальню. Причетник привел кающегося, то был немолодой, прилично одетый человек, похожий на торгового представителя или на агента по продаже недвижимости, лицо у него было бледное и как бы опухшее; он опустил на колени у исповедальни и молчал.

— Ну что же, — подбодрил я его, повторяйте за мной — я жалкий грешник, исповедуюсь и признаюсь всевышнему

— Нет, — выговорил этот человек, — я начинаю не так Дайте мне начать по-своему.

Вдруг у него задрожал подбородок и на лбу выступил пот; а меня невесть почему охватило какое-то странное и страшное отвращение. Подобное потрясение я пережил до этого случая лишь однажды, когда присутствовал при эксгумации покойника, который... который уже разложился... не стану описывать, как это выглядит.

— Ради бога, что с вами? — закричал я в испуге.

— Сейчас, сейчас... — пробормотал этот человек, глубоко вздохнул, громко высморкался и сказал: — Ну вот, все прошло. Я начну, ваше преподобие. Двенадцать лет назад...

Я не скажу вам, что я услышал. Во-первых, это, разумеется, тайна исповеди; а во-вторых, поступок был столь страшный, столь отвратительный и зверский, что... словом, этого и не выскажешь. А прихожанин выплескивал из себя все с такими ужасными подробностями — и ничего не пропустил! Я думал, что убегу из исповедальни, зажму себе уши или еще что-нибудь сделаю. Я заткнул себе рот полой епитрахили, чтобы не закричать от ужаса.

— Ну вот и все, — проговорил удовлетворенно этот человек и с облегчением высморкался. — Спасибо вам, ваше преподобие!

— Постойте! — крикнул я. — А как же епитимья?

— Да ну, — ответил он, чуть ли не фамильярно поглядывая на меня сквозь окошечко. — Я ведь ни во что не верю; просто хотелось найти облегчение. Понимаете, если я какое-то время не говорю о... ну, об этом, то оно так и стоит передо мной. И я не могу спать, глаз не смыкаю. И когда это на меня находит, я должен выговориться, должен все кому-нибудь рассказать; а вы на то и существуете, это ваше ремесло, и выдать меня вы не можете, есть ведь тайна исповеди. А что до отпущения грехов, мне оно ни к чему. Да, трудное дело, когда веры нет. Премного благодарен, ваше преподобие. Нижайший поклон.

И, прежде чем я успел опомниться, он удалился легкой походкой.

Примерно через год он появился вновь; поймал меня у входа в церковь, бледный и бесконечно смиренный.

— Ваше преподобие, — пролепетал он, — можно мне вам исповедаться?

— Послушайте, — ответил я, — без епитимьи дело не пойдет, и все тут. Не хотите покаяться — не будет у нас с вами разговора.

— Боже ты мой, — сокрушенно вздохнул человек, — то же самое говорят мне теперь все священники! Никто больше не хочет меня исповедовать, а мне это необходимо!

Тут у него затряслись губы, как и прежде.

— Нет! — крикнул я. — Или рассказывайте мне все в присутствии кого-нибудь из мирян.

— Ну да, — застонал он, — чтобы мирянин потом на меня донес! Черт вас возьми! — в отчаянии крикнул он и бросился прочь; странная вещь — даже спина его выражала такое, знаете, отчаяние...

Больше я его не встречал.

— Эта история имела продолжение, ваше преподобие, — отозвался адвокат Баум. — Однажды — тоже несколько лет тому назад — ко мне в контору пришел небольшой человек с бледным и опухшим лицом; сказать по правде, очень он мне не понравился; когда я его усадил и спросил: «Так что же вас сюда привело, приятель?» — он начал:

— Пан адвокат, когда ваш клиент с доверием обращается к вам и делится тем, в чем он, скажем, провинился, то...

— То, разумеется, — говорю, — я не имею права использовать признание против него; за это, сударь, мне вынесли бы порицание или что-нибудь похуже.

— Вот и хорошо, — облегченно вздохнул посетитель. — Пан доктор, я должен вам кое-что сообщить. Четырнадцать лет тому назад... — И далее, ваше преподобие, я услышал, видимо, то же самое, что и вы.

— Не говорите, что именно, — прервал его патер Вовес.

— И не подумаю, — проворчал адвокат Баум. — Уж больно, знаете, мерзкое дело. А мой клиент так и сыпал, словно захлебываясь, весь в поту, бледный, с закрытыми глазами... это было нечто вроде душевной рвоты. Потом он отдышался и вытер платком губы.

— Клянусь богом, — сказал я ему, — я здесь ничего не могу поделать! Но, если хотите, мой искренний совет...

— Нет! — воскликнул странный субъект. — Никакого совета мне не нужно. Я хотел только рассказать вам, что я тогда совершил; но помните, — добавил он чуть ли не в бешенстве, — вы не имеете права использовать это против меня! — Потом встал и вполне спокойно спросил: — Сколько я вам должен, пан адвокат?

— Пятьдесят крон, — удрученно ответил я.

Этот человек вынул пятидесятикроновую банкноту.

— Мое почтение, пан адвокат. -

И ушел

Хотелось бы мне знать, у скольких пражских адвокатов этот человек побывал, но ко мне вторично он не приходил.

И это еще не конец истории, — подхватил доктор Витасек. — Несколько лет тому назад, когда я работал ординатором в госпитале, привезли к нам больного с бледной и одутловатой физиономией; ноги у него распухли, как колоды, судороги, затрудненное дыхание — короче, классическое воспаление почек, прямо как пишут в учебниках; разумеется, помочь ему было уже нельзя. Однажды меня позвала сиделка: мол, этого почечника из седьмой палаты сейчас опять схватит.

Иду к нему и вижу, бедняга задыхается, потный как мышь, глаза вытаращены от ужаса — приступы смертельной тоски при этой болезни очень страшны.

— Ну, старина, — говорю я ему, — сейчас я вам сделаю укол, и все будет хорошо.

Пациент замотал головой.

— Доктор, — еле выдавил он из себя, — я... вам должен сказать... пусть только эта женщина отойдет!

Я предпочел бы вспрыснуть ему мо, но как только увидел его глаза — сразу же отослал сиделку.

— Ну, выкладывайте, дружище, — говорю, — а потом спать.

— Доктор, — простонал он, а в его глазах стоял такой, знаете, безумный страх, —

доктор, я больше не могу... Я все вижу эту... Я не могу спать, я должен рассказать вам...

И рассказал, задыхаясь, борясь с судорогами... Ничего подобного, друзья, я никогда не слышал.

— Гм, гм, — кашлянул адвокат Баум.

— Не бойтесь, — проронил доктор Витасек, — я не стану пересказывать; это уже врачебная тайна. После исповеди он лежал как мокрая тряпка, совершенно обессиленный. Понимаете, достопочтенный отец, я не мог ему отпустить грехи или дать умный совет; но я дал ему, знаете, две дозы морфия, а когда он проснулся — еще, и опять потом, — пока он не уснул навеки. Если хотите знать, я ему изрядно помог.

— Аминь, — произнес отец Вовес и слегка задумался. — Это вы хорошо сделали, — добавил он мягко, — по крайней мере, он больше не мучился.

Взломщик-поэт

— Случается иной раз и по-другому, — прервав молчание, сказал редактор Зах, — Иногда просто не знаешь, что движет человеком — угрызения совести или хвастливость и фанфаронство. Особенно профессиональные преступники — эти просто лопнули бы с досады, если бы не могли всюду трезвонить о своих похождениях. Мне думается, что многие из них зачахли бы с тоски, если бы общество не проявляло к ним интереса. Этакie специалисты прямо-таки греются в лучах общественного внимания. Я не утверждаю, конечно, что люди крадут и грабят только ради славы. Делают они это из-за денег, по легкомыслию или под влиянием дурных товарищей. Но, вкусив однажды *aurea popularis* [преходящая славы (лат)], преступники впадают в этакую манию величия, так же как, впрочем, политиканы и разные там общественные деятели.

Несколько лет назад я редактировал отличную провинциальную еженедельную газету «Восточный курьер». Сам-то я, правда, уроженец западной Чехии, но вы бы не поверили, с каким пылом я отстаивал местные интересы восточных районов! Край там тихий, холмистый, так и просится на картинку, журчат ручейки, растут сливовые деревья... Но я еженедельно призывал «наш кряжистый горный народ» упорно бороться за кусок хлеба с суровой природой и неприязненно настроенным правительством! И писал я все это, доложу вам, с жаром, от всего сердца. Два года я проторчал в «Восточном курьере» и за это время вдолбил тамошним жителям, что они «кряжистые горцы», что их жизнь «тяжела, но героична», а их холмистый край «хоть и беден, но поражает своей меланхолической красотой». Словом, превратил Чаславский район почти в Норвегию. Из этого видно, на какие великие дела способны журналисты!

Работая в провинциальной газете, надо, разумеется, прежде всего не упускать из виду местных событий. Вот однажды зашел ко мне полицейский комиссар и говорит:

— Сегодня ночью какая-то бестия обчистила магазин Вашаты, знаете, — «Торговля бакалейными товарами». И как вам понравится, господин редактор, — этот негодяй сочинил там стихи и оставил их на прилавке! Ну, не наглость ли это, а?

— Покажите стихи, — сказал я быстро. — Это подойдет для «Курьера». Вот увидите, наша газета поможет вам обнаружить преступника. Но и сам по себе этот случай — сенсация для города и всего края!

Словом, после долгих уговоров я получил стихи и напечатал их в «Восточном курьере». Я прочту вам из них, что помню. Начинались они как-то так:

Вот час двенадцатый пробил,
Громила, час твой наступил.
Все хорошенько взвесь и смерть,
Когда ты взламываешь дверь.
Чу! Слышны на дворе шаги.
Я здесь один, мне все — враги.

Но я не трушу. Тишина.
Лишь сердце дрогнет, как струна.
Шаги затихли. Пронесло!
Эх, воровское ремесло!
Дверь заскрипела, подалась,
Теперь не трус и в лавку влазь.
Сиротка я. Судьба мне — камень.
Вот слёз бы было бедной маме...
Пропала жизнь. Мне не везет.
Вот слышу, где-то мышь грызет.
Она да я — мы оба воры,
Нам жить в ладу, не зная ссоры.
Я поделиться с ней решил,
Ей малость хлебацка накрошил.
Нейдет. Отважится не скоро.
Видать, и вор боится вора.

Потом там было еще что-то, а кончалось так:

Писал бы — муза не смолкает, -
Да жалко, свечка догорает.

Я опубликовал эти стихи, подвергнув их обстоятельному психологическому и литературному анализу. Я выявил в них элементы баллады, благожелательно указал на тонкие струны в душе преступника. Все это произвело своего рода сенсацию. Газеты других партий Часлава и разных других городов нашего края утверждали, что это грубая и нелепая фальсификация, иные недоброжелатели восточной Чехии заявляли, что это плагиат, скверный перевод с английского и так далее. Как раз в самый разгар полемики с оппонентами, когда я защищал нашего местного взломщика-поэта, ко мне снова заглянул полицейский комиссар и сказал;

— Господин редактор, не пора ли покончить с этим проклятым жуликом? Посудите сами: за одну неделю он обокрал две квартиры и еще лавку и всюду оставил длинные стихи.

— Хорошо, — сказал я. — Тиснем их в газете.

— Еще чего! — проворчал комиссар. — Да ведь это значит потакать вору! К воровству его теперь побуждает главным образом литературное тщеславие. Нет, вы должны дать ему по рукам. Напишите в газете, что стихи дрянь, что в них нет никакой формы или мало настроения, — словом, придумайте что-нибудь. Тогда, мне кажется, ворюга перестанет красть.

— Гм; — говорю я, — этого написать нельзя, поскольку мы только что его расхвалили". Но знаете что? Не будем печатать его стихов, и баста!

Прекрасно. В ближайшие две недели было зарегистрировано пять краж со взломом и стихами, но «Восточный курьер» молчал о них, словно воды в рот набрал. Я, правда, опасался, как бы наш вор, побуждаемый уязвленным авторским самолюбием, не перебрался куда-нибудь в Турнов или Табор и не стал там сенсацией для тамошней пишущей братии. Представляете себе, как бы они обрадовались?

Взломщик был так сбит с толку нашим молчанием, что недели три о нем не было ни слуху ни духу, а потом кражи начались снова, с той разницей, что стихи он теперь посылал по почте прямо в редакцию «Восточного курьера». Но «Курьер» был неумолим. Во-первых, я не хотел вызывать недовольства местных властей, а во-вторых, стихи с каждым разом становились все хуже. Автор начал повторяться, изобретал какие-то романтические выкрутасы — словом, стал вести себя как настоящий писатель.

Однажды ночью прихожу я, посвистывая, как скворец, к себе домой и чиркаю спичку, чтобы зажечь лампу. Вдруг у меня за спиной кто-то дунул и погасил спичку.

— Не зажигать света! — сказал глухой голос. — Это я.

— Ага! — отозвался я. — А что вы хотите?

— Пришел спросить, как там с моими стихами, — ответил глухой голос.

— Приятель, — говорю я, не сообразив сразу, о каких стихах идет речь. — Сейчас неприемные часы. Приходите завтра в редакцию в одиннадцать.

— Чтобы меня там сцапали? — мрачно спросил голос. — Нет, это не пойдет. Почему вы не печатаете больше моих стихов?

Тут только я догадался, что это наш вор.

— Это долго объяснять, — сказал я ему. — Садитесь, молодой человек. Хотите знать, почему я не печатаю ваших стихов? Пожалуйста. Потому что они никуда не годятся. Вот.

— А я думал... — печально сказал голос, — что... что они не хуже тех первых.

— Да, первые были неплохи, — сказал я строго. — В них была непосредственность, понимаете? Искреннее чувство, свежесть, острота восприятия, настроение — словом, все. А остальные стихи, милый человек, ни к черту не годятся.

— Да я будто... — жалобно произнес голос, — будто я написал их так же, как и те первые.

— Вот именно, — сказал я неумолимо. — Вы лишь повторялись. Опять в них были шаги на улице...

— Так я же их слышал, — защищался голос. — Господин редактор, когда ворует, надо держать ушки на макушке, слушать, кто там под окном шлепает.

— И опять в них была мышь... — продолжал я.

— Мышь! — нерешительно возразил голос. — Так в лавках завсегда бывают мыши. Я об них писал только в трех...

— Короче говоря, — перебил я, — ваши стихи превратились в пустой литературный шаблон. Без оригинальности, без вдохновения, без новых образов и эмоций. Это не годится, друг мой. Поэт не смеет повторяться. Мой гость с минуту помолчал.

— Господин редактор, — сказал он, — да ведь оно завсегда одно и то же. Попробуйте воровать — что одна кража, что другая... Нелегкое это дело.

— Да, — сказал я. — Надо бы вам взяться за другое ремесло

— Обчистить церковь, что ли? — предложил голос — Или часовню на кладбище?

Я сделал энергичный отрицательный жест.

— Нет, — говорю, — это не поможет. Дело не в материале, молодой человек, дело в его творческой интерпретации. В ваших стихах нет никакого конфликта, в них каждый раз дается только внешнее описание заурядной кражи. Вам надо найти какую-нибудь свою внутреннюю тему. Например, раскаяние.

— Раскаяние? — с сомнением сказал голос. — И вы думаете, стихи тогда станут лучше?

— Разумеется! — воскликнул я. — Друг мой, это придаст им психологическую глубину и эмоциональность.

— Попробую, — задумчиво отозвался голос — Не знаю только, пойдут ли у меня кражи на лад. Понимаете, потеряешь тогда уверенность в себе. А без нее сразу засыплешься.

— А хоть бы и так! — воскликнул я. — Дорогой мой, что за беда, если вы попадетесь? Представляете себе, какие стихи вы напишете *in carcere et catenis* [*в темнице и оковах (лат)*]. Погодите, я вам покажу одну поэму, написанную в тюрьме. На это вам не мешает взглянуть.

— И она была в газетах? — спросил замирающий от волнения голос.

— Голубчик, это одна из самых прославленных поэм в мире. Зажгите лампу, я вам ее прочту.

Мой гость чиркнул спичку и зажег лампу. Он оказался бледным, прыщеватым юношей — таким может быть и жулик и поэт.

— Погодите, — говорю, — я сейчас найду ее.

И взял с полки перевод «Баллады Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Тогда она была в моде.

В жизни я не декламировал с таким чувством, как в ту ночь, читая ему вслух знаменитую балладу, особенно строку «каждый убивает как может». Гость не спускал с меня глаз. А когда мы дошли до того места, где герой поднимается на эшафот, он закрыл лицо руками и всхлипнул.

Я дочитал, и мы замолчали. Мне не хотелось нарушать величия этой минуты. Открыв окно, я сказал

— Кратчайший путь вон там, через забор. Покойной ночи.

И погасил лампу.

— Покойной ночи, — произнес в темноте взволнованный голос. — Так я попробую. Большое спасибо

И он исчез бесшумно, как летучая мышь. Все-таки это был ловкий вор

Через два дня его поймали в одном магазине. Он сидел с листком бумаги у прилавка и грыз карандаш. На бумаге была только одна строчка: «Каждый ворует как может» — явное подражание «Балладе Рэдингской тюрьмы».

Суд дал ему полтора года, как рецидивисту-взломщику.

Через какой-нибудь месяц мне принесли от него целую тетрадку стихов. Вор описывал страшные вещи — сырые тюремные подземелья, казематы, решетки, звенящие оковы на ногах, заплесневелый хлеб, дорогу на эшафот и невесть что еще. Я прямо ужаснулся чудовищным условиям в этой тюрьме.

Журналист, знаете ли, проникает всюду, вот я и устроил так, что начальник той тюрьмы пригласил меня осмотреть ее. Это оказалось вполне гуманное и благоустроенное заведение. Своего вора я застал как раз в тот момент, когда он доедал чечевичную похлебку из жестяной миски.

— Ну что, — говорю я ему, — где же эти звенящие оковы, о которых вы писали?

Вор смутился и растерянно покосился на начальника тюрьмы.

— Господин редактор, — забормотал он, — ведь про то, что тут есть, не напишешь стихов Что поделаешь!

— Так у вас нет никаких жалоб? — спрашиваю я.

— Никаких, — говорит он смущенно — Только вот стихи писать не об чем.

Больше я с ним не встречался. Ни в рубрике «Из зала суда», ни в поэзии.

Дело господина Гавлены

— Раз уж господин редактор завел речь о газетах, — сказал Беран, — я вам кое-что скажу. Что большинство читателей прежде всего ищет в газете? Ясно, «Из зала суда». Кто знает, почему это их так интересует — потому ли, что каждый из них в глубине души правонарушитель, или же, наоборот, они черпают в судебных отчетах моральное удовлетворение? Во всяком случае, эту рубрику читают с увлечением. А раз так, значит, судебные дела должны появляться регулярно каждый день. Однако же возьмите, к примеру, судебные каникулы: суд на замке, но судебная хроника в газете должна быть. А то еще часто случается, что ни в одном суде нет интересного дела. Однако судебный хроникер должен дать интересный отчет во что бы то ни стало. В таких случаях беднякам репортерам приходится это «интересное дельце» попросту высасывать из пальца. Существует настоящая торговля такими вымышленными процессами. Репортеры их продают, покупают, одалживают, обменивают на пачку папирос и так далее. Я все это знаю потому, что у моей хозяйки на квартире жил судебный хроникер. Забудыга был и лентяй, но способный парень, а платили ему буквально гроши...

Однажды в кафе, где обычно сходились судебные хроникеры, появился какой-то странный, неопрятный человек с одутловатым лицом. Звали его Гавлена, был он неудачник, недоучившийся юрист. Никто не знал, чем он живет, да и сам он едва ли отдавал себе в этом отчет. Так вот, у этого бездельника Гавлены был весьма своеобразный юридический талант: стоило дать ему сигару и кружку пива, как он, закулив и прикрыв глаза, начинал без запинки излагать вам интереснейший судебный казус. Он приводил основные тезисы защиты, соответствующую прокурорскую реплику и заканчивал обоснованным решением суда. Потом, словно проснувшись, открывал глаза и бубнил: «Одолжите пять крон».

Как — то раз репортеры решили испытать его «на выносливость». Не сходя с места, он сочинил двадцать один судебный казус, один лучше другого, и только на двадцать первом запнулся и сказал: «Постойте-ка, это не подсудно единоличному судье... и судебной коллегии тоже. Это компетенция суда присяжных, а я им не занимаюсь». Он был принципиальным противником суда присяжных. Его приговоры всегда были строги, но с юридической точки зрения безупречны. Это был его конек.

Репортеры, увидев, что «отчеты» Гавлены много интересней и разнообразней того, что делается в суде, создали своего рода картель: Гавлена получал за каждое сочиненное им «дело» по определенному тарифу — десять крон и сигару, а кроме того, «сдельную плату» по две кроны за каждый месяц тюрьмы, который он присуждал вымышленному преступнику. Сами понимаете — чем строже приговор, тем серьезнее дело. Читатели газет всегда с необычайным интересом читали судебную хронику, когда там появлялись липовые «отчеты» Гавлены. Что и говорить, газеты нынче уже не те, что в его времена, — теперь в них одна политика да газетная грызня, — не знаю, кому охота читать это.

Однажды Гавлена сфантазировал очередное дело... Это не был шедевр, но прежде с такими же делами все сходило благополучно, а на этом сорвалось. Вкратце дело было такое. Какой-то старый холостяк якобы поссорился с почтенной вдовой, живущей в доме напротив. Чтобы досадить ей, он купил попугая и научил его всякий раз, когда вдова выходила на балкон, кричать на всю улицу: «Ты шлюха!» Вдова подала на холостяка в суд, обвиняя его в оскорблении личности. Районный суд признал, что обвиняемый использовал попугая для публичного осмеяния пострадавшей, и приговорил холостяка именем республики к четырнадцати дням тюрьмы условно и к возмещению судебных издержек. «С вас одиннадцать крон и сигара», — закончил Гавлена свой отчет.

Этот отчет появился в шести газетах — разумеется, в различном изложении. В одной газете он прошел под заголовком «В тихом доме», в другой — «Холостяк и бедная вдова», в третьей — «Попугай под судом» и так далее. И вдруг все эти газеты получили циркулярное письмо из министерства юстиции. В письме говорилось, что «министерство просит сообщить, какой именно районный суд рассматривал дело, отчет о котором помещен в таком-то номере вашей уважаемой газеты, ибо возбуждение одного дела, равно как и состоявшееся решения суда, незаконно, поскольку бранные слова произносил не подсудимый, а попугай, и нельзя считать доказанным, что попугай имел в виду именно потерпевшую, — таким образом, налицо нет состава преступления, предусмотренного статьей об оскорблении личности. В худшем случае имело место только нарушение общественного спокойствия, и виновник, следовательно, подлежит лишь административно-полицейским мерам воздействия — штрафу или предупреждению с предписанием убрать упомянутую птицу. В связи со всем вышеизложенным министерство юстиции желает знать, какой суд рассматривал данное дело, чтобы начать соответствующее расследование...» и так далее и так далее; в общем, этакая бюрократическая канитель.

— Черт побери, Гавлена, заварили вы кашу! — накинулись репортеры на своего поставщика. — Приговор-то ваш никуда не годится, он незаконный!

Гавлена побледнел как мел.

— Как! — закричал он. — Мой приговор незаконен? Тысяча чертей! Министерство смеет утверждать это обо мне, Гавлене? — Репортеры никогда не видели столь оскорбленного и рассерженного человека. — Я им покажу, где раки зимуют! — вне себя

кричал Гавлена. — Они еще увидят, незаконен или законен мой приговор. Я этого так не оставлю!

От огорчения он тут же напился до положения риз. Потом взял лист бумаги и написал в министерство юстиции письмо с пространным юридическим анализом, из которого следовало, что приговор правилен, ибо когда владелец попугая учил птицу ругать соседку, то уж в этом проявилось заранее обдуманное намерение нанести оскорбление личности, явно имеющее противозаконный характер. Далее, означенный попугай это не субъект, но объект права, орудие преступления и так далее. Короче говоря, это был самый блестящий и тонкий юридический анализ, который репортерам когда-либо доводилось читать. Гавлена подписал его: «Непрактикующий кандидат прав Вацлав Гавлена» — и отправил в министерство.

— Вот! — сказал он. — И пока не решится это дело, я не буду заниматься судебными отчетами. Мне нужно получить моральное удовлетворение.

Министерство юстиции, разумеется, никак не реагировало на письмо Гавлены. А он ходил, насупившись, мрачный, еще более неопрятный, и даже похудел. Поняв, что ответа из министерства не будет, он загрустил, молча отплевывался в ответ на все вопросы или открыто возмущался и в конце концов заявил:

— Погодите, я им покажу, кто прав!

Два месяца его никто не видел. Потом он пришел сияющий, явно под мухой, И объявил:

— Против меня уже возбуждено судебное преследование. Ух, проклятая баба, каких трудов стоило ее уговорить! Кто бы думал, что пожилая женщина может быть так миролюбива. Пришлось мне дать ей подписку, что судебные издержки в любом случае несу я. Итак, господа, теперь это дело разрешит суд.

— Какое? — спросили репортеры.

— Ну, с попугаем, — ответил Гавлена. — Я же сказал вам, что этого так не оставлю. Я, знаете ли, купил себе попугая и научил его кричать: «Ты шлюха! Ты чертова баба!» Пришлось попотеть с этой птицей — полтора месяца" я не выходил из дому, только и твердил: «Ты шлюха!» Зато теперь попугай великолепно произносит эти слова, но — этакий идиот! — орет их с утра до вечера, никак не может приучиться кричать их только моей соседке, что живет напротив. Она, знаете ли, учительница музыки, из хорошей семьи, очень милая старушка. Но в доме у нас больше нет женщин, пришлось выбрать ее. Да, скажу я вам, выдумать такое правонарушение — пара пустяков, а вот осуществить его на практике — это другое дело... Никак мне не удавалось приучить хулигана-попугая, чтобы он ругал только ее. Орет на каждого, такая зловредная птица!

Гавлена залпом осушил кружку пива и продолжал: — Тогда я придумал другой трюк. Как только соседка показывалась во дворе или у окошка, я быстро отворял свое окно, и попугай орал: «Ты шлюха! Ты чертова баба!» И что бы вы думали: старушка смеялась и кричала мне: «Ну и попугай у вас, господин Гавлена!» Черт ее возьми, эту старуху! Две недели я ее уговаривал, пока она наконец подала на меня в суд. В свидетелях — жильцы всего дома. Уж теперь-то суду не уйти от этого казуса! — И Гавлена радостно потирал руки. — Не я буду, если мне не припаяют за оскорбление личности. Я этого так не оставлю, я им покажу, этим чинушам из министерства! До самого дня суда Гавлена беспробудно пьянствовал, волновался и сгорал от нетерпения. На суде он вел себя с большим достоинством, произнес против себя обвинительную речь, ссылаясь на свидетельские показания всех жильцов дома, могущих подтвердить, что оскорбление было умышленным и публичным, и требовал сурового наказания. Судья, добродушный старый советник юстиции, почесал бородку и объявил, что сам хочет слышать попугая, а потому разбор дела откладывается. Подсудимому предлагается к следующему судебному заседанию доставить в суд означенную птицу в качестве вещественного доказательства, а возможно, и в качестве

свидетеля.

На следующее заседание Гавлена явился с попугаем в клетке. Попугай вытаращил глаза на перепуганную секретаршу и заорал на весь зал: «Ты шлюха, ты чертова баба!»

— Довольно, — говорит судья. — Из показаний попугая Лорри явствует, что его высказывания не относились прямо и непосредственно к потерпевшей...

Попугай воззрился на судью и закричал: «Ты шлюха, ты чертова баба!»

... Ибо ясно, — продолжал судья, — что означенные эпитеты попугай применяет ко всем окружающим без различия пола. Таким образом, налицо нет оскорбления личности, господин Гавлена.

Гавлена вскочил как ужаленный.

— Господин судья! — запротестовал он возбужденно. — Умышленность заключается в том, что я открывал окно при появлении потерпевшей, дабы попугай ее поносил...

— Туманный случай! — сказал судья. — Может быть, открывание окна в данном случае и подозрительно, но оно не является само по себе оскорбительным действием. Я не могу осудить вас за то, что вы периодически открывали окно. Не доказано, что ваш попугай имел в виду именно потерпевшую.

— Я! Я сам имел ее в виду! — защищался Гавлена.

— Это не подтверждается свидетельскими показаниями, — возразил судья. — Никто не слышал из ваших уст инкриминированного высказывания... Ничего не поделаешь, господин Гавлена, придется вас оправдать.

И, надев судейскую шапочку, он вынес оправдательный приговор

— Я опротестовываю приговор и подаю кассационную жалобу! — чуть не плача, вскричал Гавлена, схватив клетку с попугаем, и устремился к выходу.

Впоследствии репортеры иногда встречали Гавлену, угрюмого и в нетрезвом виде.

— Ну скажите, господа, разве это правосудие! Существует ли еще право, — хныкал он. — Я этого не оставляю. Я подам в высшую инстанцию! Я добьюсь реабилитации, хотя бы мне пришлось судиться до самой смерти... Это борьба не за мои интересы, а за дело правосудия.

Чем кончилось дело в высшей инстанции мне точно не известно. Я знаю только, что суд попросту не стал рассматривать кассационную жалобу на оправдательный приговор. С тех пор Гавлена исчез, словно сквозь землю провалился. Говорят, видели, как он, словно тень, бродит по улицам, бормоча что-то невнятное. А в министерство юстиции до сих пор несколько раз в год поступает пространная пламенная жалоба «по делу об оскорблении, нанесенном попугаем...». Но поставлять репортерам судебные казусы Гавлена перестал навсегда, — видимо, потому, что была поколеблена его вера в юстицию и правопорядок.

Игла

— Я никогда не имел дела с судом, — начал Костелецкий, — но я скажу вам, что больше всего мне нравится у них эта педантичность, всякие формальности и процедуры, которых там придерживаются, даже если дело выеденного яйца не стоит. Это, понимаете ли, вызывает доверие к правосудию. Уж если у Фемиды в руках весы, пусть это будут весы аптекарские. А ежели меч, то пусть он будет остер, как бритва...

В этой связи вспомнился мне случай на нашей улице.

Одна привратница, некая Машкова, купила в лавке булку и, едва начав ее жевать, вдруг почувствовала легкий укол в нёбо. Сунула она палец в рот и вынимает... иглу! Привратница обомлела, а потом захохала: «Господи боже, ведь я могла проглотить эту иголку, и она проткнула бы мне желудок! Моя жизнь висела на волоске, я этого так не оставлю! Надо дознаться, какой негодяй запихнул туда иглу!»

И она отнесла недоеденную булку вместе со своей находкой в полицию.

Полицейские допросили лавочника, допросили и пекаря, который поставлял тому булки, но, разумеется, ни один из них не признал иголку своей. Дело передали судебно-следственным органам, ибо, да будет вам известно, оно попадало под статью «о легком членовредительстве». Судебный следователь, этакий добросовестный и дотошный служака, еще раз допросил лавочника и пекаря. Оба клятвенно уверяли, что у них игла не могла попасть в булку. Следователь отправился в лавку и установил, что игл там в продаже нет. Потом он пошел в пекарню поглядеть, как пекут булки, и просидел там целую ночь, глядя, как ставят и месят тесто, как накаливают печь, делают булки, сажают их на противень и пекут, пока они не станут золотистыми. Таким методом он выяснил, что при выпечке булок иглы действительно не применяются...

Знаете ли вы, какое чудесное дело печение хлеба? Я-то наглядился в детстве — ведь у моего покойного деда была пекарня. Видите ли, в хлебопечении есть два-три почти мистических таинства. Первое — когда ставят опару. Ставят ее в квашне, и там, под крышкой, происходит скрытое превращение: из муки и воды возникает живая закваска. Потом замешивают тесто веселкой — эта процедура похожа на ритуальные танцы — и затем накрывают квашню холстиной и дают тесту подойти. Это второе загадочное превращение — тесто величественно поднимается, пухнет, а ты не смеешь приподнять холстину и заглянуть внутрь... Все это, скажу я вам, так же прекрасно и удивительно, как беременность. Мне всегда казалось, что в квашне есть что-то от женщины. А третье таинство — сама выпечка, когда бледное и мягкое тесто превращается в хлеб. Вы вынимаете из печи этакий темно-красный, золотистый каравай, и пахнет он даже вкуснее, чем младенец. Это такое диво, что, по-моему, во время этих метаморфоз в пекарнях следовало бы звонить в колокола, как в церкви в храмовый праздник...

Да, так о чем же я? Ну и вот, этот следователь стал в тупик, но прекратить дело, — как бы не так! Взял он иглу и отправил ее в Химический институт. Пусть, мол, там выяснят, попала игла в булку до выпечки или после. (Он был просто помешан на научной экспертизе)

В институте тогда подвизался профессор Угер, этакий ученый бородач. Получив иглу, он страшно ругался, — и чего только не шлют ему эти судейские; недавно прислали такие тухлые внутренности, что даже прозектор не выдержал. А что делать институту с этой иглой? Но, поразмыслив, он заинтересовался ею, знаете, с научной точки зрения. А в самом деле, сказал он себе, может быть, и впрямь с иглой происходят какие-нибудь изменения, если ее подержать в тесте или испечь вместе с булкой? Ведь при брожении теста образуются кислоты, при печении происходят различные физико-химические процессы, и все это может воздействовать на поверхность иглы — механически изменить или окислить ее. Путем микроскопического исследования это можно установить. И профессор взялся за дело.

Прежде всего он закупил несколько сотен разных игл: совсем новехоньких и более или менее ржавых — и начал у себя в институте печь булки. При первом эксперименте он положил иглы в опару, чтобы установить, как на них действует процесс брожения. При втором положил их в свежесмешанное тесто, при третьем — в тесто, начавшее всходить, и при четвертом — в уже взошедшее. Потом он сунул иглы в булки перед самой посадкой в печь. Потом — во время выпечки. Потом в горячие булки. И, наконец, в остывшие. Затем была заново проделана контрольная серия точно таких же опытов. В общем, в течение двух недель в институте только тем и занимались, что пекли булки с иглами. Профессор, доцент, четыре аспиранта и служитель изо дня в день месили тесто и выпекали булочки, а потом исследовали иглы под микроскопом. На это потребовалась еще неделя, но в конце концов было точно установлено, что злополучная игла попала уже в выпеченную булку, ибо она полностью соответствовала опытным иглам, воткнутым в готовые булки.

На основе этого заключения экспертизы следователь сделал вывод, что игла попала в

булку или у лавочника, или по дороге из пекарни в лавку. И тогда пекарь вспомнил мать честная, да ведь я в тот самый день выгнал с работы ученика, который разносил булки! Мальчишку вызвали, и он сознался, что в отместку хозяину сунул эту иглу в булку. Мальчишка был несовершеннолетний и отделался внушением, а пекаря оштрафовали на пятьдесят крон, ибо он отвечает за свой персонал. Вот вам пример того, как точно и досконально действует правосудие.

Но есть и еще одна сторона в этом деле. Не знаю, откуда у нас, у мужчин, такое честолюбие или упрямство. Когда химики в институте занялись опытами с булками, они вбили себе в голову, что должны печь их как заправские пекаря. Сначала булки получались не ахти какие: тесто было с закалом, а булки совсем неаппетитные. Но чем дальше, тем дело шло все лучше. В конце концов эти ученые стали даже посыпать булки маком, солью и тмином и раскатывали тесто так ловко, что любо — дорого поглядеть. И они с гордостью говорили, что таких отлично выпеченных и аппетитно хрустящих булок, как у них в институте, не найдешь во всей Праге!

— Вы называете это упрямством, господин Костелецкий, — возразил Лелек. — А по моему, здесь, скорее, сказывается спортивный дух — стремление образцово справиться с делом. Настоящий мужчина гонится не за результатом, которому, может быть, грош цена. Ему важна сама игра, знаете ли, этакий азарт при достижении цели... Я приведу вам пример, хоть вы и скажете, что это чепуха и не относится к делу.

Когда я еще работал в бухгалтерии и составлял, бывало, полугодовой отчет, подчас случалось, что цифры не сходятся. Однажды в наличности не хватило трех геллеров. Конечно, я мог просто положить в кассу эти три геллера, но это была бы неправильная игра. С бухгалтерской точки зрения это было бы неспортивно. Надо найти, в каком счете допущена ошибка, а счетов у нас было четырнадцать тысяч. И скажу вам, когда я брался за баланс, мне всегда хотелось, чтобы там обнаружилась какая-нибудь ошибка. Тогда я, бывало, оставался на службе хоть на всю ночь. Положу перед собой кучу бухгалтерских книг и берусь за дело. И для меня колонки цифр становились не цифрами, они преображались просто необыкновенно. То мне казалось, что я карабкаюсь по этим колонкам вверх, словно на крутую скалу, то я спускаюсь по ним, как по лестнице, в глубокую шахту. Иногда я чувствовал себя охотником, который продирается сквозь чащу цифр, чтобы изловить пугливого и редкого зверя — эти самые три геллера. Или мне казалось, что я сыщик и, стоя за углом, подстерегаю преступника. Мимо проходят тысячи фигур, но я жду своей минуты, чтобы схватить за шиворот жулика — этого злодея — бухгалтерскую ошибку! Еще, бывало, мне мерещилось, что я рыболов и сижу на берегу с удочкой: вот-вот дерну за нее и... ага, попалась бестия. Но чаще всего я воображал себя охотником, который бродит по горам, по долам, среди росистых кустиков черники. И до того мне в такие минуты становилось хорошо от этого ощущения движения и силы, такое я чувствовал вокруг себя волнующее приволье, словно и в самом деле переживал необыкновенное приключение. Целыми ночами я мог охотиться за тремя геллерами, и когда находил их, то даже не думал, что это всего лишь жалкие гроши. Это была добыча, и я шел спать, торжествующий и счастливый, и чуть не валился в сапогах на постель. Вот и все.

Телеграмма

— Это так только говорится — пустяки, — рассудил пан Долежал. — По моим наблюдениям, естественно и непринужденно люди ведут себя лишь до тех пор, пока речь идет именно об этих незначительных и будничных вещах, а стоит им оказаться в исключительной, патетической ситуации, тут их словно кто подменяет; и говорить-то они начинают необыкновенным, я бы сказал, драматическим голосом, и слова употребляют высокие, и доводы, и чувства у них прорываются какие-то ненормальные; откуда-то берется у них отвага, властность, самоотверженность и прочие характерные свойства натуры

героического склада. Впечатление такое, словно они надышались озона и теперь не могут не делать широких жестов; вполне возможно, что они даже испытывают некое удовольствие, очутившись в необычайной и трагической ситуации. У них словно распрямляются плечи, они будто любят себя, короче, люди начинают вести себя как герои на сцене. А лишь только эта драматическая обстановка разрядится, они тоже возвращаются к обычным своим привычкам, но потом чувствуют себя малость неловко, словно их обманули и теперь приводят в чувство.

У меня есть кузен, фамилия его Калоус, вполне добропорядочный, лояльный гражданин, этакий почтенный чинуша и глава семейства, немножко тряпка, чуть-чуть педант — одним словом, обыкновенный человек, как и мы все. Жена его, пани Калоусова, добрая и простодушная, добродетельная клуша, послушная жена, домашняя раба, ну и все прочее, что по этому поводу обычно говорится. У них хорошенькая дочь Вера, но в тот момент она как раз находилась во Франции — училась французскому на тот случай, если не выйдет замуж и ей придется сдавать экзамены. Ну и, наконец, сын, оболтус-гимназист, по имени Тонда, отличный форвард и весьма посредственный ученик. Одним словом, приличная, нормальная, дружная семья среднего достатка.

Однажды Калоусовы сидели за обедом, и вдруг кто-то позвонил: пани Калоусова, вытирая руки о передник, отворила двери и говорит оттуда отцу, вся красная от волнения:

— Господи Иисусе, отец, нам телеграмма?

Вы, наверное, знаете, как пугаются женщины при виде телеграмм; тут, наверное, все дело в их душевном устройстве, в привычке ждать ударов судьбы.

— Ну-ну, мамочка, — проворчал пан Калоус, пытаясь сохранить приличествующее ему спокойствие, а у самого руки тряслись, пока телеграмму разворачивал. — От кого бы это могло быть...

Все члены семейства, включая прислугу, замешкавшуюся в дверях, затаив дыхание, уставились на главу семьи.

— Это от Веры, — произнес наконец Калоус каким-то чужим голосом. — Но, черт подери, я не понимаю тут ни одного слова.

— Ну-ка, покажи, — потребовала пани Калоусова.

— погоди, — строго остановил ее Калоус. — Сумбур какой-то. Значит, так: *Gadete un usjars reuige bellevue grenoble vera*.

— Да что же это такое? — вырвалось опять у пани Калоусовой.

— На вот, смотри сама, коли думаешь понять лучше меня, — съязвил Калоус, — ну как, уже разобрала?

Из глаз пани Калоусовой закапали горячие слезы, размывая злополучную телеграмму.

— С нашей Верой что-то случилось, — прошептала она. — Иначе она ни за что бы не послала телеграммы.

— Это мне и без тебя ясно, — выкрикнул Калоус, натягивая пиджак: куда же это годится — в такую ответственную минуту оставаться в одной рубашке?!

— Отправляйтесь на кухню, Андугла! — приказал он слу жанке и потом трагически произнес: — Телеграмма из Гренобля. Скорее всего, Вера с кем-нибудь убежала.

— С кем?! — ужаснулась пани Калоусова.

— А я откуда знаю? — взревел пан Калоус. — Разумеется, с каким-нибудь бездельником, либо художником. Вот она, ваша эмансипация! Именно такого конца я и ждал! Ведь с каким тяжелым сердцем отпускал я ее в этот окаянный Париж! А ты, ты вот все за нее канючила...

— Это я-то канючила! — вскипела пани Калоусова. — Да не ты ли бубнил: дескать, девушке нужно чему-то учиться, чтоб она сама могла себя прокормить.

Пани Калоусова разрыдалась и бессильно опустилась на стул.

— Господи Иисусе, несчастная Вера! Конечно, с ней что-то стряслось... Может, лежит одна, больная...

Пан Калоус в волнении принялся расхаживать по комнате
— Больная! — вскричал он. — С чего бы это ей заболеть? Лишь бы не пыталась наложить на себя руки! Небось негодяй этот сперва ее совратил, а потом бросил...

Пани Калоусова торопливо начала развязывать фартук.

— Я поеду за ней, — объявила она, подавляя рыдания. — Одну я ее там не оставлю... я...

— Никуда ты не поедешь! — вскричал Калоус.

Пани Калоусова поднялась. Никогда еще *не видели ее преисполненной такого достоинства.

— Я *мать*, Калоус, — сказала она. — И я знаю, что велит мне мой долг.

Произнеся эти слова, пани Калоусова с какой-то даже торжественностью удалилась.

Мужчины, то есть Калоус и гимназист Тонда, остались в одиночестве.

— Надо подготовиться к самому худшему, — глухо произнес Калоус. — Может, Веру впутали в дурную историю. Ты матери не говори, но в этот Гренобль поеду я сам.

— Отец, — проговорил Тонда на самых глубоких нотах своего голоса (обычно он называл отца «папой»), — позволь это сделать мне, туда поеду я; я немножко умею по-французски...

— Кто там испугается такого пацана, — заупрямился папаша Калоус. — Но я спасу свою дочь! Отправляюсь ближайшим поездом... Только бы не оказалось слишком поздно!

— Поездом! — усмехнулся Тонда. — Хорошо еще, что ты не хочешь отправиться туда пешком! Если бы ты отпустил меня, я полетел бы самолетом до Страсбурга...

— А я, по-твоему, не полечу? — бушевал отец Калоус. — Ну так знай, что я тоже собирался лететь! И этого мерзавца, — произнес он воинственно, грозя кому-то кулаком, — я со-тр-р-у в порошок! Бедная девочка!

Тонда положил руку отцу на плечо; это походило прямо-таки на чудо, скажу я вам; мальчик, перенеся внезапный удар, возмужал просто на глазах.

— Отец, — произнес он как можно мягче, — это тебе не по силам, ты уже в возрасте. Положись на меня; ты ведь знаешь, что ради сестры я сделаю все, что только в человеческих силах.

До сих пор, разумеется, младший брат высказывал сестре только свое полное пренебрежение.

Отец Калоус покачал головой.

— Нет, — мрачно сказал он, — это дело мое. Дочери не от кого ждать настоящей помощи, кроме как от отца. Я еду, Тонда. А ты пока будешь опорой матери. Знаешь, женщины, они...

Тут в переднюю вошла пани Калоусова, одетая в дорожный костюм. К удивлению, она никак не походила на человека, нуждающегося в опоре и помощи.

— Куда это ты, скажи на милость? — не выдержал Калоус.

— В банк, — отчужденно ответила мужественная женщина. — За *своими* сбережениями. Чтобы поехать *к дочери* за границу.

— Глупости! — взбеленился Калоус.

— Никакие не глупости! — холодно парировала пани Калоусова. — Я знаю, что делаю и зачем.

— Жена, — решительно объявил Калоус, — да будет тебе известно, что к Вере поеду я сам.

— Ты?! — с некоторым даже презрением переспросила пани Калоусова. — Какой там от тебя прок? Да и к чему бы тебе лишать себя привычных удобств? — с убийственной иронией добавила она.

Отец Калоус расправил плечи и побагровел.

— Это уж не твоя забота — будет от меня прок или нет. Я все взвесил и знаю, что там может произойти. Я готов ко всему. Передай прислуге, чтоб она собрала мне чемоданчик, ладно?

— Я же тебя знаю, — возражала пани Калоусова. — Начальник не даст тебе разрешения — и никуда ты не поедешь.

— Чихал я на начальника, — разбушевался Калоус. — Плевать мне на службу! Пусть выгоняют! Уж как-нибудь перебыюсь и без них! Я всю жизнь посвятил семье, принесу ей и эту жертву, понятно?!

Пани Калоусова присела на краешек стула.

— Муж, ты все-таки возьми в толк, — сокрушенно проговорила она, — о чем теперь идет речь! Ведь я еду ухаживать за больной! У меня такое предчувствие, будто Вера — на грани жизни и смерти! Я обязана быть возле нее...

— А у меня такое предчувствие, — воскликнул Калоус, — что она — в лапах какого-то прохвоста. Если бы хоть знать, что там, в телеграмме, можно бы подготовить себя...

— ... к самому худшему... — всхлипнула пани Калоусова.

— Не исключено и такое, — угрюмо согласился Калоус. — Я просто боюсь и подумать, о чем, собственно, эта телеграмма.

— Послушай, — неуверенно предложила пани Калоусова, — а может, спросить лана Горвата?

— О чем нам его спрашивать? — удивился Калоус.

— Ну, что там, в телеграмме, написано. Ведь пан Горват разгадывает всякие шифры...

— Пожалуй, — облегченно вздохнул Калоус. — Он вполне может разгадать! Андула! — гаркнул глава семьи, — бегите на шестой этаж к пану Горвату, передайте, хозяева, мол, очень просят зайти!

Во избежание недоразумений, сразу же поясню, что этот пан Горват служит в нашей разведывательной службе, — главная его забота — дешифровка тайнописи. Говорят, что в своем деле он чуть ли не гений, этот пан Горват, и, если ему дать время, он разгадает любые знаки; только это очень уж кропотливая работа, поэтому все они, дешифровщики, как бы малость не в себе.

Так вот, значит, вскоре пан Горват заглянул к Калоусовым; к слову сказать, был это тщедушный, нервный человек, и от него страшно пахло чем-то вроде нафталина.

— Пан Горват, — начал Калоус, — я тут получил одну странную телеграмму; вот мы и подумали, не будете ли вы так любезны...

— Покажите, — попросил пан Горват, прочитал телеграмму да так и остался сидеть, полуприкрыв глаза. Воцарилась гробовая тишина.

— Так-так, — немного погодя раздался голос Горвата, — а от кого телеграмма?

— От нашей дочери Веры, — пояснил Калоус. — Она учится во Франции.

— Ага, — отозвался пан Горват и встал. — Тогда пошлите ей телеграфом двести франков или около того в отель «Бельвю» в Гренобле — и все.

— Вы разобрали телеграмму? — выдавил Калоус.

— Какое там, — буркнул пан Горват. — Никакой это не шифр, а просто — искажение текста. Но посудите сами, о чем может телеграфировать молодая девушка? Наверное, потеряла сумочку с деньгами. Всякое бывает.

— А не могло ли... не могло ли в телеграмме содержаться чего-нибудь более страшного? — с сомнением спросил Калоус.

— Да почему в ней должно быть что-нибудь более страшное? — возразил удивленный пан Горват. — Послушайте, ведь чаще всего случаются вполне обычные вещи. Да и сумочки эти никуда не годятся...

— Так благодарствуйте, пан Горват, — сухо поблагодарил пан Калоус.

— Не на чем, — буркнул пан Горват и удалился.

В квартире Калоусов на некоторое время воцарилась тишина.

— Послушай, — смущенно обратился Калоус к жене. — Не очень-то он мне нравится, этот Горват; гм... грубиян какой-то...

Пани Калоусова расстегивала крючки и пуговицы своего выходного платья.

— Он гадкий, — ответила она. — Ты пошлешь Вере деньги?

— Ничего не поделаешь — пошлю, — разворчался Калоус. — Гусыня несчастная, потерять сумочку, а? Что, деньги-то у меня — ворованные? Влепить бы ей пару...

— Я жмусь как последняя дура, — добавила в сердцах пани Калоусова, — а наша фрейлейн не может быть поосмотрительней... Горе мне с этими детьми...

— А ты что глазеешь по сторонам, садись за книги, лентяй! — прикрикнул Калоус на Тонду и поплелся на почту. Никогда еще он не испытывал такой досады, как сейчас. А Горвата с тех пор считал циником, неделикатным и прямо-таки непорядочным человеком, словно тот нанес ему смертельное оскорбление.

Человек, который не мог спать

— Раз уж пан Долежал завел речь о расшифровке, — молвил пан Кавка, — то я вспомнил об одной шутке, которую однажды подстроил коллеге Мусилу. Этот самый Мусил — необыкновенно образованный и subtilный человек, этакий тип интеллектуала: во всем он видит проблемы и ищет свою точку зрения на них. У него, например, есть точка зрения и на собственную жену, и живет он не в супружестве, а в проблеме супружества, — кроме того, он решает социальную проблему, половой вопрос, проблему подсознания, проблему воспитания, кризис сегодняшней культуры и целый ряд других проблем. Люди, которые всюду находят проблемы, столь же невыносимы, как и те, у кого есть принципы. Я не люблю проблем, для меня яйцо есть яйцо, и если кто начнет говорить о проблеме яйца, то я подумаю, что яйцо тухлое. Это я к тому, чтобы вы знали, что за человека мой коллега Мусил.

Однажды перед рождеством он решил поехать кататься на лыжах в Крконоши, и так как ему надо было еще что-то купить, то он сказал, что вернется позднее попрощаться с нами. Тем временем к нам заглянул доктор Мандел, знаете, известный публицист, тоже большой чудак, и говорит, что ему необходимо потолковать с паном Мусилом.

— Мусила нет, — говорю я, — но, вероятно, он еще зайдет сюда перед отъездом; подождите.

Доктор Мандел выразил досаду.

— Ждать я не могу, — сказал он, — но я напишу ему записочку о том, зачем он мне нужен.

Тут он сел за стол и начал писать.

Не знаю, видел ли кто-нибудь из вас более неразборчивый почерк, чем почерк доктора Мандела. Он похож на запись сейсмографа — такая длинная прерывистая линия, которая местами то вдруг пойдет мелкой дрожью, то резко подскочит. Я-то почерк Мандела знал хорошо и просто смотрел, как его рука скользит по бумаге. Вдруг доктор Мандел нахмурился, нетерпеливо скомкал бумагу, бросил в корзину и встал.

— Нет, слишком долго писать, — пробормотал он — и был таков.

Сами понимаете, в канун рождества не хочется заниматься серьезной работой; и вот я сел за стол и начал выводить на листке сейсмографические кривые: длинные ломаные линии, которые то резко подпрыгивали, то стремительно падали, следуя только моей прихоти. Поразвлекавшись таким образом, я положил листок на стол Мусилу. И тут как раз он вбежал, уже в спортивном костюме, с лыжами и палками на плече.

— Ну, я поехал! — радостно крикнул он еще с порога.

— Тут приходил какой-то господин, спрашивал вас, — невозмутимо сообщил я ему. — Он оставил вам письмо, по его словам, важное.

— Где оно? — живо отозвался Мусил. — Ну и ну, — он слегка смутился при виде моего творения. — Это от доктора Мандела, что же он от меня хочет?

— Не знаю, — проворчал я неприветливо, — он очень спешил; но, знаете, не хотел бы я расшифровывать его почерк.

— Я его закорючки умею читать, — заявил Мусил легкомысленно, поставил лыжи с палками в угол и сел за стол.

— Гм, — произнес он через минуту, став чрезвычайно серьезным.

Полчаса прошло в гробовом молчании.

— Так, первые два слова есть! — вздохнул наконец Мусил, вставая. — Они означают: «Дорогой коллега». Но теперь мне пора бежать на станцию. Я эту записку возьму с собой и расшифрую ее в дороге, чего бы мне это ни стоило.

После Нового года он вернулся с гор.

— Ну, как вы провели время? — спрашиваю. — Сейчас, наверно, в горах красота, не правда ли?

Он только рукой махнул:

— Даже не знаю! Признаюсь, я все время просидел, не высывая носа на улицу, в номере гостиницы; но все говорили, что там великолепно.

— В чем же дело? — спросил я участливо. — Вы болели?

— Да нет, — ответил Мусил с напускной скромностью, — я все время расшифровывал письмо Мандела; и если хотите знать, я его все-таки расшифровал! — Заявил он победоносно. — Только два-три слова не смог прочесть. Я бился над ним все дни и ночи, но я твердо решил расшифровать его, и я это сделал.

У меня не хватило духу сказать ему, что записка — всего лишь мои досужие упражнения.

— А записка была такой уж серьезной? — спросил я с участием. — Стоила она, по крайней мере, такого труда?

— Это не важно, — гордо ответил Мусил, — меня это интересовало скорее как графологическая проблема. Доктор Мандел просит меня написать за две недели статью в его журнал, но вот о чем, — этого я как раз и не смог разобрать; затем он желает мне весело провести праздники и хорошенько отдохнуть в горах. В общем, пустяки; зато разрешение этой проблемы, сударь, было твердым методологическим орешком и незаменимой тренировкой для ума. Ради этого стоило провести несколько бессонных ночей.

— Вы не должны были так поступать, — заметил укоризненно пан Паулюс. — Черт с ними с несколькими днями, но жаль бессонных ночей. Сон, сударь мой, не только отдых для тела; сон — это вроде очищения и прощения за прошедший день. Сон — особая милость; и первые несколько минут после хорошего сна всякая душа чиста и невинна, как дитя.

Я это знаю, потому что было время, когда я лишился сна. Вероятно, это было следствием беспорядочной жизни, или что-то во мне разладилось, не могу сказать, — но стоило мне лечь в постель и ощутить под веками первое щекотание сонливости, во мне что-то как бы щелкало, и я часами лежал и таращился в темноту, пока не начинало светать. Я мучился год — год без сна/

Когда вот так не можешь уснуть, сначала стараешься ни о чем не думать: поэтому начинаешь считать или молиться. И вдруг всплывает мысль: боже мой, вчера я забыл сделать то-то и то-то! Потом приходит в голову, что, кажется, тебя надули в лавочке, когда ты расплачивался. Затем вспомнишь, что жена или приятель намеренно ответили тебе как-то странно. Тут в доме что-то скрипнет, и ты думаешь, что это вор, и тебя бросает в жар от страха. Но как только поддаешься страху, то начинаешь анализировать свое физическое состояние и, взмокнув от ужаса, вспоминаешь, что тебе известно о нефрите или о раке. Без всякого повода вдруг мелькнет воспоминание о постыдной глупости, которую ты совершил двадцать лет назад, но тебя и сейчас еще прошибает пот уже от стыда. Слово за словом ведешь ты очную ставку с этим странным, неотвязным и неискупленным «я»; со своей слабостью, собственной грубостью и мерзостью, с недугами и обидами, глупостями, конфузами и страданиями, давно отошедшими в прошлое. И возвращается к тебе все мучительное, болезненное и унижительное, что ты когда-либо испытал; нет пощады тому, кто не может спать. Весь твой мир искажается и обретает тягостную перспективу; дела, о

которых ты только-только забыл, ухмыляются тебе, словно говоря: болван, хорошо же ты тогда поступил; а помнишь, как твоя первая любовь, когда тебе было четырнадцать лет, не пришла на свидание. Так вот знай: она тогда целовалась с другим, с твоим приятелем Войтой, и они смеялись над тобой! Эх ты, дурень, дурень, дурень! — И ты ворочаешься в жаркой постели и хочешь уговорить себя: черт возьми, да мне до этого давно нет дела! Что было, то сплыло, и точка. А я скажу вам, это не так. Все, что было, — есть. Продолжает существовать даже то, что ты уже не помнишь. Я считаю, что память живет и после смерти.

Вы, друзья, меня немного знаете. Знаете, что я не бука и не ипохондрик, не какой-нибудь бирюк, нытик, брюзга, недотрога, ворчун, кисейная барышня, нелюдим и пессимист. Я люблю жизнь и людей, и самого себя, берусь за все сплеча, люблю помериться силами с трудностями, — короче, толстокож, как оно и подобает мужчине. Но когда я лишился сна, днем я мотался напропалую, знай поворачивался, спешил от задачи к задаче; вы знаете, я пользуюсь счастливой репутацией весьма деятельного человека. Но едва ночью я ложился в постель и начиналась бессонница, как жизнь моя раздваивалась. Там была жизнь дельного, удачливого, самоуверенного и здорового человека, у которого все спорится благодаря энергии, смекалке и бессовестному везению. Здесь, в постели, лежал человек затравленный, который со страхом осознавал свои неудачи, позор, непорядочность и все, что было унижительного в его жизни. Я жил двумя жизнями, которые почти не соприкасались и были до ужаса не похожи одна на другую. Дневная — складывавшаяся из успехов, деятельности, взаимоотношений с людьми и доверия, из забавных препятствий и вполне нормальных чудачеств, — жизнь, в которой я по-своему был счастлив и доволен собой. Но ночам развертывалась другая жизнь, сотканная из боли и растерянности: жизнь человека, которому ни в чем не везет; человека, которого все предали и который сам относился к людям глупо, малодушно и скверно; человека, разочарованного во всем, трагической марионетки, которую все ненавидят и обманывают; человека слабого, который все проиграл и, шатаясь, бредет от позора к позору. Каждая из этих жизней была сама по себе последовательной, связной и цельной; когда я пребывал в одной из них, мне казалось, что другая жизнь принадлежит кому-то еще, что она меня не касается или что она лишь мнится; что она — самообман и болезненная иллюзия. Днем я любил, ночью подозревал и ненавидел. Днем я жил жизнью, обычной для нас, людей; ночью я жил самим собой. Кто думает о себе, теряет мир.

И вот мне кажется, что сон — это как бы темная и глубокая вода. Она уносит все, о чем мы не знаем и не должны знать. Станный осадок печали, который образуется в нас, вымывается и уплывает в это безбрежное море подсознания. Наши дурные и трусливые поступки, все наши обыденные и постыдные грехи, унижающие нас глупости и неудачи, секунды лжи и нелюбви, все то, в чем провинились мы, и то, в чем другие виноваты перед нами, — все это тихонько утекает куда-то за пределы сознания. Сон безгранично милосерден: он прощает нас и виновных перед нами.

И вот я скажу вам: то, что мы называем нашей жизнью, — еще не все, что нами прожито, — это лишь часть жизни. Того, чем мы живем, слишком много, больше, чем способен вобрать наш разум. Поэтому мы лишь отбираем то или другое, что нам подходит, и кое-как сплетаем из отобранного упрощенное действо; и это сплетение мы называем жизнью. Но сколько мы при этом оставляем в стороне, сколько обходим странных и страшных вещей, боже ты мой! Если бы люди осознали это! Но мы способны жить лишь одной упрощенной жизнью. Прожить и пережить больше было бы свыше наших сил. У нас не достало бы мочи вынести жизнь, если бы большую часть ее мы не теряли по дороге.

Коллекция марок

— Да, это, конечно, святая правда, — сказал старый пан Карас. — Как покопаешься в своем прошлом, так и поймешь, что в нем достаточно материала для совсем других жизней. Однажды... по ошибке или по склонности... ты выбираешь одну из них и ведешь ее до конца; но хуже всего, что те, другие, те возможные жизни не совсем отошли в небытие. И

порой случается, что ты ощущаешь в них боль, как в отнятой ноге.

Когда мне было лет десять, я начал коллекционировать марки; папе это не нравилось, он думал, что я из-за этого буду плохо учиться; но у меня был товарищ Лойзик Чепелка, с которым мы и предавались филателистической страсти. Лойзик был сыном шарманщика, такой взъерошенный, как воробей, вихрастый и веснушчатый мальчишка, и я любил его, как только дети умеют любить товарища. Знаете, я старый человек, у меня были жена и дети, и я скажу вам — никакое чувство не бывает столь прекрасным, как дружба. Но на это человек способен лишь в молодости; позже он как-то черствеет и думает больше о себе. Такая дружба рождается от чистейшего восторга и восхищения, от избытка жизненных сил, богатства и безмерности чувства; в тебе его столько, что ты должен кому-нибудь его подарить. Мой отец был нотариус, глава местной знати, весьма почтенный и строгий господин; а я всем сердцем привязался к Лойзику, чей отец был пьяным шарманщиком, а мать — забитой прачкой, и этого Лойзу я почитал как святого, преклонялся перед ним за то, что он более ловок, чем я, что он удачливый, самостоятельный и выносливый, что нос у него в веснушках и что он мог бросать камни левой рукой, — в общем, не помню, как много всего я в нем любил; бесспорно, это была самая большая любовь моей жизни.

Так вот этот Лойзик стал хранителем моей тайны, когда я начал собирать марки. Здесь кто-то сказал, что только мужчины понимают, что такое коллекционирование, и это верно; я думаю, в нас живет некий атавизм или инстинкт, сохранившийся с тех времен, когда мужчина коллекционировал головы врагов, захваченное оружие, медвежьи шкуры, оленьи рога и вообще все, что становилось его добычей. Но коллекция марок — это не просто собственность, это — вечное приключение; ты как бы с трепетом прикасаешься к краешку далекой страны, скажем, Бутана, Боливии или мыса Доброй Надежды; просто у тебя с этими чужеземными землями возникает что-то вроде личной, интимной связи. В общем, есть в коллекционировании марок некий мотив путешествий и мореплавания, короче, этакой всеобщей мужской тяги к приключениям. Это все равно как некогда с крестовыми походами...

Как я уже говорил, моему отцу это не нравилось; отцы обычно не любят, когда их сыновья заняты не тем, чем они сами, — я, господа, так же относился к моим сыновьям. Отцовство — вообще некое смешанное чувство; есть в нем великая любовь, но и какая-то предвзятость, недоверие, враждебность — не знаю, как это выразить; чем больше любишь своих детей, тем сильнее это другое чувство. Короче, мне с моей марочной коллекцией приходилось прятаться на чердаке, чтобы отец ни о чем не догадался; на чердаке стоял старый ларь из-под муки, и мы залезали в него, как два мышонка, и показывали друг другу марки: смотри, вот это Нидерланды, это Египет, и тут Sverige, то есть Швеция. И в том, что нам приходилось прятать наши сокровища, было нечто до греховности прекрасное. А добывать эти марки было еще одним приключением; я ходил по знакомым и незнакомым семьям и кланчил марки со старых писем. В некоторых домах, где-нибудь на чердаке или в секретере, хранились полные ящики старых документов, — самые блаженные часы я проводил, сидя на полу и перебирая пропыленные кипы бумаг в поисках экземпляра, какого у меня еще не было, — видите ли, по глупости, я не собирал дубликатов; и если мне попадалась старая Ломбардия или какое-нибудь из немецких маленьких княжеств или вольных городов — я испытывал прямо мучительную радость, — ведь всякое безмерное счастье причиняет сладкую боль. А Лойзик поджидал меня на улице, и когда я наконец выходил, то еще с порога шептал ему: «Лойза, Лойзик, там был один Ганновер!» — «Взял?» — «Ага!» И мы мчались с добычей домой, к тайнику.

В нашем городе были текстильные фабрики, выпускавшие низкие сорта джутовых, бязевых, ситцевых тканей и прочую хлопчатобумажную ерунду, все это производилось для цветных племен всего земного шара. И мне разрешили приходить на фабрики и искать марки

в корзинах для бумаг; здесь были мои самые богатые охотничьи угодья: тут я находил Сиам и Южную Африку, Китай, Либерию, Афганистан, Борнео, Бразилию, Новую Зеландию, Индию, Конго, — не знаю, звучат ли еще для вас эти названия как нечто таинственное и желанное. Господин, какая радость, какая невероятная радость найти марку хотя бы из Straits Settlements. Или — Корея, Непал! Новая Гвинея! Сьерра-Леоне! Мадагаскар! Послушайте, такой восторг может понять только охотник, искатель кладов или археолог среди своих раскопок. Искать и найти — вот величайшее напряжение и удовлетворение, какое только может дать человеку жизнь. Каждому человеку следовало бы что-нибудь искать, — если не марки, то — истину или волшебный цвет папоротника, а то хотя бы каменные наконечники стрел и урны.

Да, это были прекраснейшие годы моей жизни, когда я дружил с Лойзиком и собирал марки; Но вот я заболел скарлатиной, и Лойзика не пускали ко мне, хотя он торчал у нас в коридоре и насвистывал, чтобы я его слышал. Как-то раз за мной не уследили, что ли; в общем, я удрал из постели и — шасть на чердак посмотреть свои марки. Я так ослабел, что с трудом поднял крышку ларя. Но ларь был пуст; коробка с марками исчезла.

Я не в силах описать вам мою боль и ужас. Вероятно, я стоял там, словно окаменев, и не мог даже плакать, так у меня сжалось горло. Во-первых, ужасно было потерять марки, мою величайшую радость; но еще страшнее было сознание, что, воспользовавшись моей болезнью, их, наверное, украл Лойзик, мой единственный друг. То был ужас, разочарование, отчаяние, скорбь, — знаете, просто поразительно, до чего сильны переживания ребенка. Как я спустился с чердака, я уже не помню; только после этого я снова слег, метался в жару, а в минуты облегчения все думал, думал... Ни отцу, ни тете я не сказал ни слова — матери у меня уже не было; я знал, что они совершенно меня не понимают, и это как-то отдаляло меня от них, — с того времени я уже никогда не питал к ним горячей детской привязанности. Измена Лойзика оказалась для меня чуть ли не смертельным ударом; это было мое первое и самое страшное разочарование в человеке. Нищий, говорил я себе, Лойзик — нищий и поэтому ворует; вот тебе за то, что ты дружил с нищим. Это ожесточило меня; с тех пор я стал делать различия между людьми — я утратил состояние социальной невинности; однако тогда я не понимал еще, сколь глубоко было потрясение и сколь многое во мне рухнуло.

Пересилив болезнь, я пересилил и боль от потери марочной коллекции. Только еще кольнуло в сердце, когда я увидел, что Лойзик тем временем завел новых товарищей; но, когда он прибежал ко мне, слегка смущенный после долгой разлуки, я сказал ему сухо и повзрослому: «Катись, я с тобой не разговариваю!» Лойзик покраснел и не сразу ответил: «Ну и ладно!» С того времени он упорно, по-пролетарски ненавидел меня.

Именно это событие и повлияло на всю мою жизнь, на мой выбор жизни, как выразился бы пан Паулюс. Мой мир, если можно так сказать, был осквернен, я перестал доверять людям; научился ненавидеть их и презирать. Больше не было у меня друга; и когда я стал взрослеть, то начал даже гордиться тем, что мне никто не нужен и я никому ничего не прощаю. Потом я стал замечать, что меня никто не любит, и сам тоже стал презирать любовь и всякие сантименты. Так и вышел из меня высокомерный, честолюбивый, педантичный — одним словом, корректный человек; к подчиненным я относился зло, без жалости, женился без любви, детей воспитывал в трепете и страхе и своим прилежанием и добросовестностью добился немалых успехов. Такова была моя жизнь, вся жизнь; я не уделял внимания ничему, кроме своих обязанностей. И когда я почию в бозе, в газетах напишут, какой я был заслуженный работник и примерный человек. Но если бы люди знали, сколько во всем этом одиночества, недоверия и ожесточенности...

Три года назад умерла моя жена. Я не признавался ни себе, ни людям, но мне было невыносимо грустно; и от тоски я начал перебирать семейные реликвии, оставшиеся после отца и матери: фотографии, письма, мои старые тетради... У меня перехватило горло, когда я увидел, как заботливо мой строгий отец все это складывал и сохранял; вероятно, он все-таки любил меня. Этими вещами был забит целый шкаф на чердаке; и на дне одного ящика я нашел шкатулку, запечатанную печатями отца; я открыл ее — в ней лежала та самая

коллекция марок, которую я собирал пятьдесят лет назад.

Не буду скрывать — у меня ручьем хлынули слезы, и эту шкатулку я отнес в свою комнату как некое сокровище. Значит, вот как было дело, понял я тогда. Значит, когда я болел, кто-то нашел мою коллекцию, и отец ее конфисковал, чтобы я из-за нее не запускал учебу. Ему не следовало этого делать; но и тут сказалась его строгая забота и любовь; не знаю отчего, но мне стало жаль и его и себя.

А потом пришла мысль: значит, Лойзик не крал этих марок. Господи боже, как я был к нему несправедлив. И встало передо мной лицо этого веснушчатого и вихрастого уличного мальчишки, — бог весть, что с ним случилось, и жив ли он еще!

Ах, как мне было мучительно стыдно, когда я все это восстанавливал в памяти. Только из-за несправедливого подозрения я потерял единственного товарища, — из-за этого я лишился детства. Стал презирать бедных, вел себя высокомерно, — поэтому я уже ни с кем близко не сошелся. Но одной только этой причине я всю жизнь не мог смотреть на почтовые марки без неприязни и отвращения и никогда не писал писем своей невесте, а затем жене, маскируясь тем, что стою выше проявления чувств; и моя жена страдала от этого. Вот почему я был так жесток и замкнут. Поэтому, только поэтому я сделал такую карьеру и столь образцово выполнял свои обязанности...

— Я пересмотрел всю свою жизнь, и вдруг она показалась мне пустой и бессмысленной. Ведь я мог жить совершенно иначе — пришло мне в голову. Если бы этого не случилось, — ведь во мне было столько жару и любви к приключениям, столько страсти и благородства, фантазии и доверчивости, столько удивительных и могучих дарований. Боже мой, да я мог быть совсем другим человеком — путешественником, актером или военным! Я мог любить людей, выпивать с ними, понимать их, мало ли что еще! Во мне словно таял некий лед. Я перебирал марку за маркой. Здесь были все они — Ломбардия, Куба, Сиам, Ганновер, Никарагуа, Филиппины, — все страны, в которые я тогда хотел поехать и которых уже не увижу. В каждой марке заключалась частица того, что могло быть и чего не случилось. Я просидел над ними всю ночь и судил свою жизнь. Я видел, что это была какая-то чужая, искусственная, безличная жизнь, а моя настоящая жизнь так и не осуществилась... — Пан Карас махнул рукой, — Как подумаю, чем только я мог стать и как я был несправедлив к Лойзику...

Слушая эту речь, патер Вовес вконец опечалился и разжалобился, — скорее всего, тоже вспомнил что-нибудь из собственной жизни.

— Пан Карас, — сказал он растроганно, — не стоит об этом думать, — что толку, теперь уж поправить ничего невозможно, невозможно начать жизнь сызнова...

— Невозможно, — вздохнул пан Карас, слегка покраснев. — Но знаете, по крайней мере, — по крайней мере, я снова начал собирать марки!

Обыкновенное убийство

— Я часто думал, — заметил пан Ганак, — почему несправедливость кажется нам хуже любого зла, которое можно причинить людям. Ну, например, если бы мы узнали, что одного невинного человека посадили в тюрьму — это тревожило бы и мучило нас больше, чем-то, что тысячи людей живут в нужде и страданиях. Я видел такую нищету, что всякая тюрьма по сравнению с ней просто роскошь; и все же самая страшная нищета не так ранит нас, как несправедливость. Я бы сказал, что в нас есть некий юридический инстинкт, — и виновность и невиновность, право и справедливость — столь же первичные, страшные и глубокие чувства, как любовь и голод.

Возьмите хотя бы такую историю. Четыре года я и кое-кто из вас пробыли на войне; не станем говорить, что мы там видели, но вы согласитесь, что наш брат там ко многому по привычке: например, к трупам. Я видел сотни и сотни мертвых молодых людей, порой страшно обезображенных, можете мне поверить; и, признаюсь, к подобным зрелищам стал настолько безразличен, как если бы передо мной разложили старые тряпки, только бы они не

воняли. Я лишь одно говорил себе — дружище, если ты выберешься из этой мясорубки цел и невредим, то уж ничто в жизни не сможет тебя потрясти.

Приблизительно через полгода после войны я как-то был дома в Слатине, — однажды утром кто-то стучит в мое окно:

— Пан Ганак, идите посмотрите, убили пани Туркову!

У пани Турковой была маленькая лавчонка, где продавались писчебумажные товары и нитки; никто никогда ее не замечал, разве только кто зайдет когда-нибудь купить катушку ниток или рождественскую открытку. Из лавочки стеклянная дверь вела в кухню, где пани Туркова и спала; на двери висела занавеска, и когда звякал колокольчик, пани Туркова выглядывала из-за этой занавески, чтобы посмотреть, кто это пришел, вытирала руки фартуком и входила в лавочку. «Что вам угодно?» — спрашивала она недоверчиво; у посетителя возникало ощущение, что он непрошенный гость, и всякий старался поскорее убраться. Похоже на то, будто вы приподняли камень и увидели, как мечется в сырой впадине одинокий перепуганный жук; и вы поскорее опустите этот камень на место, лишь бы противный жук успокоился.

Услышав эту новость, я побежал посмотреть, скорее всего, из обычного любопытства. Перед лавчонкой пани Турковой народу собралось, что пчел у летка; но полицейский впустил меня внутрь — из уважения к образованному человеку. В тишине звякнул колокольчик — как всегда, но сейчас от этого звонкого, четкого звука мороз подрал по коже; очень уж не соответствовал он обстановке. На пороге кухни лежала лицом вниз пани Туркова, и у головы ее застыла почти черная лужа крови; белые волосы слиплись от спекшейся крови. В этот момент я вдруг ощутил то, чего не знал на войне; ужас от того, что человек мертв.

Странно, о войне я уже почти забыл; человечество о ней тоже понемногу забывает, и, вероятно, поэтому когда-нибудь должна будет разразиться новая война. Но эту убитую старуху, эту никому не нужную мелкую лавочницу, которая не умела толком продать даже открытку, я не забуду никогда. Убитый — это не то, что умерший, в нем какая-то страшная тайна. Я, представьте себе, не мог понять, зачем убили именно пани Туркову, такую обыкновенную, неинтересную личность, на которую никто никогда не обращал внимания; и как же получилось, что поза, в которой она лежит, исполнена такого пафоса, и склоняется над ней полицейский, и снаружи толпится множество народу, только бы увидеть хоть уголком глаза пани Туркову. Если можно так сказать, бедняжка никогда не пользовалась таким вниманием, как теперь, когда она лежала, уткнувшись лицом в черную кровь. Она словно внезапно приобрела странную и страшную значительность. Никогда я не замечал, как она одета и как, собственно, выглядит: но теперь я будто смотрел на нее через стекло, увеличивающее все безмерно и чудовищно. На одной ноге у нее была домашняя туфля; второй туфли не было, и на пятке чулка виднелась штопка — я видел каждый стежок, и мне было страшно, словно и этот жалкий чулок был убит. Пальцы одной руки вцепились в пол — и рука эта была сухая и бессильная, как птичья лапка; но страшнее всего была седая косичка на затылке убитой, потому что она была тщательно заплетена и поблескивала среди дорожек спекшейся крови, как старое олове. У меня было ощущение, что я никогда не видел ничего жалостнее этой окровавленной женской косицы. Струйка крови запеклась за ухом; над ней светилась серебряная сережка с голубым камешком. Это было невыносимо, у меня тряслись ноги.

— Господи! — произнес я.

Полицейский, который искал что-то на полу кухни, выпрямился и посмотрел на меня; он был бледен, как перед обмороком.

— Послушайте, — выдал я из себя, — вы были на войне?

— Был, — хрипло ответил полицейский. — Но это — совсем не то. Взгляните-ка, — вдруг добавил он, показывая на занавеску двери; она была смята и испачкана; очевидно, убийца вытер ею руки.

— Иисусе Христе! — вырвалось у меня; не знаю, что здесь было так ужасно —

представление о руках, липких от крови, или то, что эта занавесочка, чистенькая занавесочка тоже сделалась жертвой преступления. Не знаю, но в эту минуту в кухоньке долгой трелью залилась канарейка. Послушайте, этого я уже не мог выдержать, — в ужасе выбежал вон и, наверное, был бледнее полицейского.

Потом я долго сидел у нас во дворе на оглобле телеги, пытаюсь собраться с мыслями. Дуралей, говорил я себе, ведь это — обыкновенное убийство! Ты что, не видел крови? Или не был заляпан собственной кровью, как свинья грязью? Не ты ли кричал своим солдатам, чтобы они быстрее копали яму для ста тридцати убитых? Сто тридцать трупов в ряд занимают немало места, даже если сложить их тесно, как дранку... И ты расхаживал вдоль этого ряда, курил сигареты и орал на команду: «Давай, давай, кончай поскорее!» Разве не ты видел столько мертвых, столько мертвых...

То — то и оно, ответил я себе, я видел множество трупов, но не видел одного-единственного Мертвого; не опускался перед ним на колени, чтобы заглянуть ему в лицо и коснуться его волос. Мертвый страшно тих; с ним надо быть наедине... и даже не дышать... чтобы понять его. И каждый из этих ста тридцати собрал бы все силы и сказал тебе: «Господин лейтенант, они убили меня; посмотрите на мои руки, ведь это руки человека!» Но все мы отворачивались от этих мертвых; если уж пришлось воевать -нельзя слушать убитых. Господи, надо бы, чтобы вокруг каждого погибшего толпились люди, как пчелы у летка, — мужчины, женщины, дети, — чтобы увидеть с содроганием хотя бы часть его тела; хоть ногу в солдатском сапоге или окровавленные волосы... Тогда, пожалуй, всего этого не должно было бы быть. Тогда и не могло бы этого быть!

Я похоронил матушку: она выглядела так торжественно, так примиренно и достойно в красивом гробу. Она была странной, но не страшной. Но это, это — совсем не то, что смерть; убитый — не мертвый; убитый обвиняет, как если бы он кричал от великой, невыносимой боли. Мы это знаем, я и этот полицейский; мы знаем — в этой лавчонке витал призрак. Тогда-то я начал догадываться. Не знаю, может, у нас и нет души; но есть в нас нечто бессмертное, как инстинкт справедливости. Я ничуть не лучше любого другого человека, но есть во мне что-то такое, что принадлежит не мне одному, — некое представление о каком-то строгом и высоком законе. Я знаю, что неточно выразился; но в ту минуту я понял, что такое преступление и что такое оскорбление бога. Знайте: убитый человек — это обещанный и разоренный храм.

— А что, — промолвил пан Добеш, — убийцу поймали?

— Поймали, — ответил пан Ганак, — и я его видел, когда спустя два дня полицейские вели его из лавочки, где он был допрошен, как говорится, на месте преступления. Видел я его, может, всего секунд пять, но опять как бы под некоей чудовищно увеличивающей лупой. Это был молодой парень в наручниках, и он так странно спешил, что полицейские едва поспевали за ним. На носу у него выступил пот, глаза вытаращены, и он так испуганно моргал, — видно было, что он испытывает безмерный страх, словно кролик во время вивисекции. До смерти не забуду его лица. Очень тяжело и скверно было у меня на душе после этой встречи. Теперь его будут судить, думал я, и провозятся несколько месяцев, чтобы приговорить к смерти. В конце концов я понял, что мне, собственно, жаль его и что я, пожалуй, почувствовал бы облегчение, если бы он как-нибудь выпутался. Не то, чтобы у него была симпатичная внешность, скорее, наоборот; но я видел его слишком близко — я видел, как он моргает от страха. Черт побери, я ведь не кисейная барышня, но вблизи — это был не убийца. А просто человек. По совести говоря, я и сам этого не понимаю; не знаю, что бы я сделал, будь я его судьей; но от всего этого мне было так тяжело, словно я сам нуждался в искуплении.

Присяжный

— Так вот, однажды и мне привелось судить, — сказал пан Фирбас, откашливаясь, —

потому что по жеребьевке выпало быть присяжным. В то время как раз слушалось дело мужеубийцы Луизы Каданиковой. Нас, присяжных, было восемь мужчин и четыре женщины.

Видит бог, эти бабы уж постараются освободить Луизу, думалось нам, мужчинам. И мы заранее настроились против нее.

А был это очень даже обыкновенный случай несчастливой супружеской жизни. Землемер Каданик взял себе жену на двадцать лет моложе; Луиза тогда была девчонкой, и нашелся свидетель, который рассказал, что на другой день после свадьбы молодая плакала, бледная как мел, и ее трясло, когда муж хотел до нее дотронуться.

Сколько раз я думал — какой, должно быть, ужас переживает после свадьбы такая вот невинная и неискушенная девушка: вы только представьте себе, что муж уже привык иметь дело с девками и вел себя соответственно. Нет, этого ни один мужчина даже вообразить не может.

Однако государственный обвинитель раздобыл другое свидетельство: дескать, были у Луизочки до свадьбы шуры-муры с одним студентом, да и потом они переписывались. Короче говоря, сразу после свадьбы стало ясно, что этому супружеству не сладиться; пани Луиза не скрывала своего физического отвращения к мужу, через год она скинула, и с той поры у нее пошли какие-то женские болезни. Пан землемер старался утешиться на стороне, а дома скандалил из-за каждого крейцера.

В тот злополучный день у них опять была ссора из-за крепдешиновой рубашки или еще чего-то эдакого, и пан землемер начал обуваться: дескать, дома он киснуть не намерен.

Тут Луизочка и подкралась к нему сзади и выстрелила из браунинга в затылок. Потом выскочила в коридор, забарабанила в двери соседям, чтобы шли к мужу: она, мол, его убила и идет отдать себя в руки правосудия, но на лестнице свалилась в судорогах. Вот и вся история.

И теперь мы — двенадцать присяжных — собрались, чтобы судить ее вину. Говорят, Луиза была красивой девушкой, только, знаете, предварительное заключение женщину не красит: на суде она сидела какая-то опухшая, только на бледном лице горели злые, ненавидящие глаза. Наверху в черной мантии, воплощением справедливости, восседал председатель суда, величественный, почти как священнослужитель. Государственным обвинителем был самый роскошный прокурор, какого мне довелось видеть: здоровый, как бык, собранный и напористый, словно сытый тигр; было заметно, что он упивался своей силой и превосходством, кидаясь на добычу, которая снизу с иступленной ненавистью сверлила его горящими глазами. Адвокат обвиняемой то и дело раздраженно вскакивал и пререкался с государственным обвинителем; нас, присяжных, это тяготило, порой казалось, что мы не на суде над женщиной-убийцей, а присутствуем на каком-то споре между защитником и обвинителем...

— Были, значит, еще и мы — судьи из народа, нам хотелось судить по совести, только при самых лучших намерениях мы большую часть времени умирали со скуки от этих адвокатских заковык да судебных формальностей. А сзади теснилась публика, смакующая историю Луизы Каданиковой, и когда та попадала в тупик и затравленно молчала, было слышно, как эти люди хрюкают от наслаждения. — Пан Фирбас отер лоб, будто вспотел. — Мне порой казалось, что я не выборный судья, а человек на дыбе: будто самому надо встать и заявить — признаю свою вину, делайте со мной что хотите.

Были там еще и свидетели; каждый давал показания со значительным видом, раздуваясь от гордости, что он что-то знает; и из этих показаний складывалась как на ладони жизнь маленького городка, этого скопища зависти, поклевов, политиканства, протекций, шушуканья, злобы, интриг и скуки. По одним свидетельствам, покойник был честный и прямой человек, примерный гражданин с наилучшей репутацией; по другим — бабник, скопидом, жестокий, безнравственный и грубый; короче — выбирай, что хочешь.

Пани Луизе доставалось больше — говорили, что она и ветреница, и мотовка, и кокетка, носила шелковое белье, домом не занималась, делала долги.

Обвинитель наклонился с ледяной усмешкой:

— Обвиняемая, были у вас в девичестве близкие отношения с каким-нибудь мужчиной?

Обвиняемая молчала, только на щеках вспыхивал лихорадочный румянец.

Защитник вскакивал: прошу заслушать показания такой-то, Каданик с ней прелюбодействовал, когда она у него служила. У них был ребенок.

Судья хмурился — видно, думал: господи, этому разбирательству конца не будет!

Суд без конца копался в отвратительных домашних дрязгах: кто из супругов первый начал семейную распрю, сколько получала пани Луиза на хозяйство, было ли мужу за что ее ревновать... Тянулись часы, и мне начинало казаться, будто говорят не о покойном Каданике и его семейной жизни, а обо мне или о ком-нибудь из присяжных, вообще о ком-то из нас; господи, это ведь о покойнике, а я тоже так поступал, такие вещи делаются всюду, чего об этом толковать? Мне казалось, будто одежда за одеждой раздевают всех нас, мужчин и женщин. Перемывают нам косточки, трясут наше грязное белье, вытягивают на свет тайны наших постелей и привычек. Будто по косточкам разбирают нашу собственную жизнь, только так зло и так жестоко, что она представляется сплошным адом. Собственно, Каданик был не так уж плох: ну, грубоват, срывал на жене зло, унижал ее, был черствый и скупой, потому что зарабатывал трудно и мало; вел беспутную — жизнь, соблазнял служанок и был в связи с некоей вдовой, но ведь это, наверное, со зла, от уязвленного мужского самолюбия, пани-то Луиза его ненавидела, словно он был каким-то омерзительным насекомым. И что странно: когда кто-нибудь из свидетелей защиты показывал против убитого — дескать, был он сварливый, мелочный, жестокий и в половом отношении грубый и властный, — в нас присяжных-мужчинах пробуждалось что-то вроде недовольствия и солидарности-, стоп, думалось нам, если за это стрелять... А когда другой свидетель показывал против пани Луизы, что она была и легкомысленная, и щеголиха, и то и се, мы испытывали к ней какую-то симпатию, готовы были на многое посмотреть сквозь пальцы, а четыре женщины сжимали губы и взгляд их выражал непримиримость.

День за днем, час за часом разматывался клубок этого супружеского ада, подсмотренного глазами служанок и врачей, соседей и сплетников: ссоры и долги, болезни, семейные сцены, все то злое, истерическое и мучительное, что терпит человеческая пара; перед нами словно вывешивали человеческую требуху во всей ее убогой мерзости. Знаете, у меня добрая и порядочная жена, но иной раз я там внизу видел не Луизу Каданикову, а свою собственную супругу, свою Лиду, обвиняемую в том, что она выстрелом в затылок убила своего мужа Фирбаса, собственным затылком я ощущал страшную, гремющую боль этого выстрела, видел, как Лида, бледная и безобразно опухшая, сжимает губы и обвиняет меня обезумевшим от ужаса, отвращения и унижения взглядом. Это Лиду здесь раздевали и потрошили, мою жену, мою спальню, мои тайны, мои беды, мою грубость. Я чуть не плакал, чуть не кричал: видишь, Лида, к чему это нас привело! Я закрывал глаза, чтобы избавиться от страшного наваждения, но в темноте показания свидетелей были еще мучительней; тогда я тарасил глаза на Луизу, и у меня сжималось сердце: господи, Лида, как ты переменилась!

Когда я возвращался из суда домой, Лида встречала меня нетерпеливым вопросом, ну, как, осудят? По-своему это был сенсационный процесс, главным образом для дамочек.

— Я, — провозглашала моя жена, горя от возбуждения, — я бы ее осудила.

— Тебя это не касается, — кричал я на нее: мне было страшно разговаривать с ней об этом.

Последний вечер перед вынесением приговора меня охватило беспокойство: я метался из угла в угол, рассуждая: скорее всего, Луизу оправдают, зачем же иначе среди присяжных четыре женщины? Еще один голос, отрицающий виновность, и она освобождена; так как же, будешь ты голосовать за это? Ответа я не находил, только, неизвестно почему, у меня мелькнула неприятная мысль — ведь и у меня в ночном столике лежит заряженный револьвер — еще с времен войны, — может статься, в один прекрасный день он приглянется и моей жене! Я взял револьвер в руки: не спрятать ли тебя, а может, вообще выкинуть? Пока

нет нужды — криво усмехнулся я, — пока не решится с Луизой' И снова мучил себя — что будет и как, господа, за что, за что я должен голосовать?

В последний день выступал государственный обвинитель; говорил гладко и уверенно, — не знаю, откуда у него на это право, — выступал он именем семьи как таковой. Я слушал его словно издалека, а он так выразительно, так подчеркнуто произносил: семья, семейная жизнь, супружество, муж и жена, задачи и обязанности жены; говорили, что это была одна из самых блестящих обвинительных речей Потом слово взял адвокат пани Луизы и учинил что-то страшное: построил защиту на сексуально-патологическом анализе. Какое, дескать, отвращение должна чувствовать холодная в половом отношении, или, как говорят, фригидная, женщина к брутальному мужу-самцу, как ее физическое отвращение перерастает в ненависть, какой трагической жертвой является такая женщина, предоставленная воле и желаниям немилосердного полового тирана.

За время его речи так и чувствовалось, как все присяжные ожесточаются против пани Луизы, как растет невольное отвращение к чему-то ненормальному, разлагающему и угрожающему человеческим отношениям... Женщины-присяжные сидели бледные и дышали враждой к той, которая нарушила некое обязательство. А идиот адвокат все развивал свою сексуальную теорию.

Судья снисходительно посматривал через очки на возмущение присяжных и в заключительном слове попытался спасти положение: он говорил не о семье и не о половом рабстве, а об убийстве человека. Нам, присяжным, полегчало: откровенно говоря, с этой стороны нам этот случай был больше по зубам, казался понятней и обыкновенней.

До последней минуты я не знал, как ответить: виновна или нет? Но когда нам задали вопрос: «Виновна ли Луиза Каданикова в том, что она стреляла в своего мужа с намерением его убить?» — мне нужно было отвечать первому, и я без колебаний ответил: да, потому что она действительно имела умысел убить и сделала это. Все двенадцать присяжных ответили: да.

Потом настала напряженная тишина: я взглянул на женщин-присяжных. Они смотрели твердо, почти торжественно, как будто на самом деле выиграли бой за интересы человеческой семьи. Дома ко мне рванулась бледная от волнения Лида:

— Чем кончилось?

— С Луизой? — ответил я механически. — Двенадцатью голосами признана виновной. Осуждена к смерти через повешение.

— Какой ужас, — воскликнула Лида с наивной жестокостью, — но она это заслужила!

Тут меня прорвало.

— Да, — заорал я со злостью, причины которой не понимал сам, — да, заслужила, потому что дура! Учти, Лида, если бы она выстрелила ему в висок, то могла бы сказать, что он покончил самоубийством, понимаешь, Лида? Ее бы освободили, — учти, в висок!

И хлопнул дверью, — мне хотелось остаться одному. И, знаете, револьвер до сих пор лежит у меня в незапертом ящике, я не стал его убирать.

Последние мысли человека

— Быть приговоренным к смерти — ужасное переживание, — сказал на это пан Кукла. — Я это знаю, потому что однажды пережил последние минуты перед собственной казнью. Разумеется, во сне; но сон — тоже часть человеческой жизни, хотя и самый ее край. У этого края от твоей славы, от всего, чем ты кичился в жизни, остается только похоть, страх, самолюбие, да еще кое-что, чего ты по большей части стыдишься; наверное, это и есть самое потаенное в человеке.

Однажды после полудня я вернулся домой усталый как собака: так наработался, что свалился и уснул мертвым сном. Вдруг мне показалось, что двери отворились и в них стоит совершенно незнакомый господин и за ним двое солдат с примкнутыми штыками; не знаю почему, но солдаты были в казачьих мундирах.

— Встать, — сказал незнакомец грубо, — приготовьтесь, завтра утром вы будете казнены. Понятно?

— Понятно, — отвечаю, — только я не знаю за что...

— Это нас не касается, — прервал меня этот господин, — вот приказ произвести казнь, — и бухнул дверьми.

Я остался один и задумался. То есть не знаю: когда человек размышляет во сне, думает он на самом деле или ему только снится, что он думает? Были ли это действительно мои мысли, или мне только казалось, что я думаю, так же как нам грезится, будто мы видим лица? Знаю только, что напряженно думал и в то же время удивлялся своим мыслям. Поначалу я ощутил какое-то злорадное удовлетворение. Ведь это явная ошибка; завтра я буду казнен по недоразумению, а им попадет за то, что они так опростоволосились. Но в то же время во мне росло беспокойство, что я и в самом деле буду казнен и оставлю жену с ребенком; что с ними станет, что они будут делать? Это, я вам скажу, была настоящая боль, просто сердце кровью обливалось, но сознание — вот, дескать, как я пекусь о жене и ребенке, — приятно успокаивало. Видишь, говорил я себе, о чем думает мужчина, идущий на смерть! Меня вроде бы утешало, что я предаюсь такой великой отеческой жалости; мне это даже казалось возвышенным. Надо будет все рассказать жене — радовался я.

Но тут меня охватил испуг: я вспомнил, что казни обычно совершаются на рассвете, в четыре или пять часов утра, и что скоро мне придется вставать и отправляться на казнь. А вставать я очень не люблю, и мысль, что солдаты еще до рассвета меня подымут, оттеснила все другие, я совсем упал духом и чуть не плакал от жалости. Такой был ужас, что, проснувшись, я вздохнул с превеликим облегчением и жене ничего не рассказал.

— Я бы тоже мог кое-что рассказать о последних мыслях человека, — сказал пан Скршиванек и покраснел от смущения, — но, скорее всего, вам это покажется глупым.

— Не, покажется, — успокоил его пан Тауссиг, — приступайте!

— Не знаю, — начал Скршиванек неуверенно, — я ведь однажды хотел застрелиться, и вот — раз уж пан Кукла заговорил о том, что думает человек на самом краю жизни, а ведь когда человек хочет убить себя — он тоже подходит к самому краю...

— Поди ж ты, — сказал пан Карас, — ас чего бы это вы хотели стреляться?

— От изнеженности, — сказал Скршиванек, заливаясь краской. — Понимаете, я не умею переносить боль... А тогда у меня получилось воспаление тройничного нерва, — доктора говорят, что это одно из самых болезненных воспалений... не знаю...

— Истинная правда, — пробурчал доктор Витасек. — Я вам сочувствую, голубчик. И у вас это повторяется?

— Повторяется, — вспыхнул Скршиванек, — но стреляться я больше не хочу... Об этом стоит рассказать.

— Рассказывайте, — одобрил его пан Долежал.

— Знаете, так трудно передать, — мялся Скршиванек, — вообще уже сама боль...

— Человек ревет как зверь, — разъяснил доктор Витасек.

— Да. И на третью ночь... когда терпеть не стало сил, я положил на столик браунинг. Еще час, думалось мне, больше не выдержать. Почему я, почему именно я должен так страдать? У меня было чувство, что по отношению ко мне совершается страшная несправедливость: почему я, почему именно я?

— Вам надо было принимать порошки, — заворчал доктор Витасек, — тригемин или верамон, адалин, алгократин, миградон.

— Я и принимал, — возразил Скршиванек, — господи, я их столько проглотил, что они вообще перестали действовать. То есть они усыпляли меня, но боль не усыпляли, понимаете? Боль оставалась, но это уже была как бы и не моя боль, потому что я был настолько одурманен, что потерял сам себя. Я не помнил себя, но помнил об этой боли, и мне начало казаться, что это чья-то чужая боль. И я слышал другого... он тихонько выли и стонал, а мне было его страшно жалко — у меня слезы градом текли от жалости. Я чувствовал, что боль растет... Иисусе Христе, бормотал я, и как только этот человек выдерживает! Наверное...

наверное, я должен был бы его застрелить, чтобы он так не мучился. Но в тот же момент я ужаснулся... нет, нельзя! Не знаю, но вдруг я почувствовал такое удивительное уважение к его жизни именно потому, что он так ужасно страдает.

Пан Скршиванек в растерянности потер лоб.

— Не знаю, как бы вам объяснить? Возможно, меня одурманили эти порошки, хотя все мне представлялось с невероятной отчетливостью... просто ослепительно. Мне грезилось, что тот, кто мучится и стонет — это человечество... сам Человек. А я только свидетель мук... этаким ночной страж у мученического ложа. Если бы меня тут не было, боль была бы напрасной, словно какое-то великое свершение, о котором никто не знает. А покуда боль была еще моей... я казался себе жалким червем, таким незаметным и ничтожным... Но теперь... когда боль меня переросла... я с ужасом ощутил, что жизнь огромна, беспредельна. Я чувствовал, что... — Пан Скршиванек вспотел от смущения. — Не смейтесь. Я чувствовал, что эта боль... некая жертва. А поэтому, понимаете, именно поэтому каждая религия... возлагает боль на алтарь божий. Поэтому были кровавые гекатомбы... и мученики... и бог на кресте. Я понял, что... что из страданий Человека рождается некая тайная благодать. Мы должны страдать, чтобы освятить жизнь. Никакая радость не может быть такой сильной и великой... И я чувствовал, что если останусь жив, то буду отмечен благодатью.

— И что же? — спросил патер Вовес с интересом.

Пан Скршиванек залился румянцем.

— Нет, поспешно ответил он, — человек этого не может знать. Но с тех пор... во мне живет благоговение: все мне кажется более значительным... каждая малость и каждый человек, понимаете? Все имеет огромную цену. Когда я смотрю на закат солнца, я говорю себе, что он стоит наших безмерных страданий. Или вот люди, их труд, из обыкновенная жизнь... все стоит боли. И я знаю, что это страшная и невыразимая цена. Я верю, что нет зла, нет возмездия; есть только боль, которая служит тому, чтобы... чтобы жизнь имела эту огромную ценность.

Пан Скршиванек умолк, не зная, что сказать дальше.

— Вы очень добры ко мне, — прошептал он и от смущения высморкался, чтобы спрятать пылающее лицо.